



## α

**В***аша корреспонденция доставлена по адресу: Nancy, Rue Sellier, Jardin de la Citadelle, почтовый ящик.*

Некоторое время я созерцал телефон, пытаюсь понять, что тут не так. То есть, разумеется, вообще все не так. Какая «корреспонденция»? От кого, откуда, зачем? С каких пор о получении письма оповещают по телефону? И что за почтовый ящик может быть в саду? В каком, к черту, саду?! И почему именно в Нанси? Я туда, конечно, еду — вот прямо сейчас, в скоростном поезде из Парижа. Но об этом не знает ни одна живая душа.

Я и сам еще два часа назад не знал, что отправлюсь в Нанси. Просто шел мимо Восточного вокзала, рядом с которым поселился, глазел по сторонам в надежде, что увлекательные планы на только-только начавшийся день образуются как-нибудь сами собой. И вдруг вспомнил игру, которую придумал давным-давно, еще в школе, но по-настоящему оценил, когда стал жителем объединенной Европы и принялся исследовать ее с энтузиазмом узника, чье пожизненное заключение внезапно закончилось, а жизнь — еще нет.

Правила простые: оказавшись возле вокзала в начале свободного от неотложных дел дня, войти и изучить расписание пригородных электричек, а если есть лишние деньги и желание забраться подальше, то и поездов дальнего следования. Выбрать ближайший, вернее, отходящий минут через десять-пятнадцать, чтобы успеть купить билет — и вперед, на поиски новых впечатлений. Обычно я ограничиваюсь короткими поездками, чтобы вечером можно было вернуться, но это не принцип, а вынужденная уступка обстоятельствам. Будь я богатым бездельником, месяцами домой не возвращался бы.

В глубине души я всегда считал, что это не просто развлечение, а большая, сложная игра с невидимым и, ясное дело, непостижимым партнером, которого по малолетству именовал Судьбой, потом — Случаем, но довольно быстро почувствовал, что никаких имен называть не надо, даже наедине с собой, и благоговейно притих.

Я уже давным-давно такой взрослый, что самому страшно, но до сих пор люблю представлять, что всякий раз, когда я приближаюсь к вокзалу, какой-нибудь дежурный сотрудник Небесной Канцелярии бросает все дела и принимается спешно составлять для меня очередной маршрут. Ощущать его внимание и деятельную заботу мне нравится даже больше, чем болтаться без дела по незнакомым городам и селениям, а лучше этого занятия я пока так ничего и не придумал. Хотя очень старался.

Попав на несколько дней в Париж, я никаких дополнительных путешествий не планировал, это, казалось мне, перебор — все равно что, проникнув в погреб

знаменитого винодела, периодически выскакивать оттуда в ближайшее бистро. Но уже на третий день, проходя мимо Восточного вокзала, я почувствовал знакомый сладкий зуд — не в теле и даже не в так называемой «душе», а где-то в районе грядущего полудня. Почти неохотно вошел, почти невольно покосился на расписание и увидел, что скоростной поезд до Нанси как раз готовится к отправлению. Прикинул: а что, прекрасный маршрут, полтора часа, и на месте. И вернуться наверняка можно сегодня же вечером, ну же, сказал я себе, ну! — и только тогда заметил, что уже уперся коленом в жизнерадостную зеленую твердь билетного автомата.

И вот я еду в Нанси, уже почти приехал, за окном мелькают пригородные сады, а мой телефон внезапно начинает шипеть, свистеть и плевать — я специально сохранил в его памяти симфонию для трех одновременно закипевших чайников, чтобы улыбаться всякий раз, когда приходит sms.

Доставая телефон из кармана, я полагал, это кто-нибудь из приятелей внезапно вспомнил о моем существовании, но нет, сообщение было послано с какого-то незнакомого местного номера. *«Ваша корреспонденция доставлена по адресу: Nancy, Rue Sellier, Jardin de la Citadelle, почтовый ящик»*, — и, да, я наконец понял, что удивило меня больше всего: все, кроме собственно адреса, было написано по-русски, причем не транслитом, а кириллицей. При том что нахожусь я во Франции, а номер у меня — немецкий. Однако неведомого поклонника Кирилла и Мефодия эти обстоятельства совершенно не смущали.

Конечно, я попробовал перезвонить таинственному отправителю — с предсказуемым результатом. Ласковый женский голос проворковал, что такого номера не существует в пределах обитаемой вселенной; что же касается необитаемой, о ней механическая мадмуазель не имела никакой информации, как, впрочем, и я сам. Ну, то есть, мне приятно думать, что автомат сказал примерно это, а не банальное «неправильно набран номер», для того и нужны благозвучные незнакомые языки, вроде французского — чтобы питать наши иллюзии.

Тогда я написал ответ — дескать, ничего не понимаю, объясните. Зря старался, все равно сообщение не дошло до абонента; я, впрочем, не слишком на это рассчитывал.

Значит так, сказал я себе, покинув здание вокзала. Таинственная корреспонденция подождет, пока я выпью кофе. И волшебный сад, который, надо думать, в детстве мечтал стать избитой метафорой утерянного рая, тоже подождет, и дурацкий почтовый ящик, которого, разумеется, не существует.

Вообще-то, сейчас, когда на меня никто не смотрел и мыслей, смею надеяться, не читал, можно было бы оставить этот снисходительный тон, пинком прогнать внутреннего скептика, наспех сотворенного когда-то из вязкой глины детских разочарований специально для упрощения коммуникаций с внешним миром, и честно признать: на самом деле я погибаю от любопытства и нетерпения. С тех пор, как прочитал нелепое

сообщение, написанное кириллицей, только и думаю, что про сад на улице Сельер. Привстал на цыпочки, затаил дыхание, жду.

Но внутренний скептик имеет надо мной куда большую власть, чем было задумано в момент его рождения. Вот и сейчас он буквально силком затащил меня в ближайшее кафе, а со всем остальным я отлично справился сам: обменял две монеты на чашку, наполнив ароматной тьмой, пригубил, вышел на террасу, сел, уставился на разрисованную пластиковую столешницу, достал блокнот, записал: *Жители города Нанси чертят на своих столах старинные карты мира, чтобы находиться одновременно всюду, оставаясь при этом дома.*

Это уже давно стало традицией, приезжая в незнакомый город, я записываю первое более-менее яркое впечатление; получается, можно сказать, новая «Книга чудес», потому что нет ничего причудливей, чем фрагмент правды, насильственно извлеченный рассказчиком из пестрой мозаики бытия и снабженный наивным комментарием озадаченного, но не утратившего вкуса к построению умозаключений инопланетянина. Как почти все, что я делаю, эти заметки не нужны и не интересны никому, кроме меня самого. В юности я полагал свой удел трагическим, но со временем понял, что это просто естественное положение вещей. Люди вообще нужны и интересны друг другу куда меньше, чем принято думать, разве только спину почесать, а если душа не лежит к этому занятию, следует привыкнуть к мысли, что тебя для окружающих как бы и нет вовсе. А еще лучше — на-

учиться считать это не бедой, но преимуществом. Я научился.

Дописав, я одним глотком прикончил остывший эспрессо, купил в ближайшем киоске план города, с удивлением и даже некоторым разочарованием убедился, что улица Sellier действительно существует, даже Jardin de la Citadelle там отмечен крошечным зеленым прямоугольником, и неторопливо, с независимым видом зашагал по направлению к площади Короля Станислава, делая вид, будто ее хваленый архитектурный ансамбль занимает меня куда больше, чем тот факт, что от этой площади до моего сада практически рукой подать... До «моего»? Ого. Ничего себе.

Внутренний скептик был шокирован столь трепетным отношением к этому нелепому делу; еще больше его сердило, что улица и сад не оказались вымыслом, а значит не удастся вот прямо сейчас объявить меня легковверным ослом и закрыть тему, сэкономив, таким образом, кучу времени — ради чего, кстати, его следует экономить? Хороший вопрос.

Не желая сдаваться, внутренний скептик воздвигал на моем пути к таинственной корреспонденции все новые препятствия. Преувеличенно восхищался фальшивой позолотой решеток на площади Короля Станислава, долго топтался перед скучным фонтаном Нептуна, требовал вдумчиво насладиться ароматом цветущих лип на площади Ла Карьер и с таким неистовым ожесточением тащил меня к Кафедральному собору, будто всерьез вознамерился скормить тамошним позеленевшим от времени химерам. Наконец,

отчаявшись, он уселся на стул первого попавшегося кафе и объявил, что без плотного завтрака шагу больше не сделает. Возражать было бессмысленно: этот мерзавец загодя включил легкое головокружение и уже держал палец на кнопке с надписью «нас всех тошнит». Пришлось покориться, уткнуться в меню, сделать выбор, терпеливо ждать сперва официанта, потом — его благополучного возвращения с омлетом, неторопливо есть, а в финале потребовать вторую чашку кофе, откинуться на спинку стула, блаженно вытянуть не успевшие пока устать ноги и закурить, как будто я совершенно не спешу рассчитаться, вскочить и отправиться на поиски Jardin de la Citadelle, больно надо, подумаешь.

Однако, когда я наконец поднялся, выяснилось, что до улицы Сельер вовсе не четверть часа ходьбы, как я предполагал, а рукой подать. Если верить карте, она начинается сразу за крепостными воротами, а ворота — вот же они, прямо передо мной, всего в сотне метров, странно, что я их раньше не увидел, как будто приблизились, пока я ел, ну или кафе аккуратно передвинулось, вместе с террасой, немногочисленными едоками и омлетом, поглотившим все мое внимание.

Ерунда какая, ухмыльнулся внутренний скептик, просто ты вышел сюда из-за угла и сразу уселся спиной к воротам, вот и не заметил, обычное дело, не выдумывай.

Ладно, какая разница, примирительно сказал я. И, поскольку внутренний скептик не смог изобрести ни одного мало-мальски убедительного предлога куда-нибудь срочно свернуть, поспешно зашагал к воротам.



Jardin de la Citadelle оказался совсем крошечным парком, разбитым, насколько я мог судить, на остатках древней крепостной стены, поэтому туда пришлось подниматься по каменной лестнице, скользкой от сотен тысяч минувших и будущих дождей. Я терпеть не могу аккуратные французские парки, но этот был настолько запущен, что уже почти превратился в английский — цветочные клумбы еще оставались на месте, зато кустарники давным-давно нарушили границы отведенной им территории, теперь они были всюду, расплозились по тропинкам, как пахучее зеленое тесто, убежавшее из квашни. В центре парка высились огромные клены. Когда-то, не сомневаюсь, они были посажены стройными рядами, но с тех пор успели разрастись, развернуться в разные стороны, переплестись кронами, образовать между небом и землей маленькую действующую модель мирового хаоса.

Никакого почтового отделения в парке, разумеется, не оказалось. Глупо было на это рассчитывать, снисходительно заметил мой внутренний скептик. И, великодушный, как все победители, добавил: ладно, можешь тут перекурить, чтобы не было ощущения, будто совсем уж напрасно шел. А потом, если не возражаешь, поищем что-нибудь *действительно* интересное.

Курить мне пока не особо хотелось, но иных предложений задержаться в саду, еще не утратившем очарования, свойственного всем несбывшимся обещаниям, я изобрести не мог. Поэтому сел на скамейку, достал из кармана сигареты, и только тогда заметил, что

я здесь не один. Другое человеческое существо, которое с одинаковым успехом могло оказаться мужчиной, женщиной и даже неуклюжим рослым ребенком, стояло под самым высоким кленом и, задрав голову, что-то высматривало в его ветвях. Существо было облачено в черные джинсы и ярко-красную ветровку, на его голове топорщился коротенький ежик младенчески белокурых волос, а за спиной болтался большой, но явно почти пустой рюкзак, уныло-розовый, как коровье вымя. Впрочем, я недолго любовался этим зрелищем, потому что почти сразу инстинктивно задрал голову: что оно там высматривает? Белку небось? Я тоже хочу.

Но вместо белки я увидел когда-то красный, а теперь потемневший от времени и влаги почтовый ящик, не прибитый, а старательно прикрученный к кленовому стволу несколькими слоями проволоки и бечевки метрах в четырех над землей.

Это скворечник. Или кормушка, — заявил мой внутренний скептик и поспешно втянул голову в плечи — стыд ему все-таки ведом, и столь беззастенчивой подтасовкой фактов он обычно не занимается. А этот почтовый ящик был именно почтовым ящиком и ничем иным, невзирая на совершенно неуместное положение в пространстве.

Существо в красной ветровке вздрогнуло, словно наши взгляды столкнулись там, наверху, и обернулось. Оно оказалось одной из тех некрасивых женщин, которые в любом возрасте похожи на красивых мальчиков; они это, надо думать, прекрасно понимают, поэтому всю жизнь коротко стригутся и платьев не наде-

вают даже по праздникам. Мне они очень нравятся, все как одна.

— Huch! — вырвалось у нее.

В принципе, все европейцы удивляются более-менее одинаково, лингвистические сложности начинаются секунду спустя, но это был такой характерный немецкий «ух», что я невольно улыбнулся ей, как старой знакомой. С тех пор, как я поселился в Германии и принялся регулярно оттуда уезжать, немцы попадаются на моем пути буквально всюду, включая литовские деревни, черногорские супермаркеты и вагоны пригородных электричек, курсирующих по Италии. Не сомневаюсь, что если однажды я отправлюсь в путешествие, скажем, из Португалии в Новую Зеландию на судне под американским флагом и, потерпев кораблекрушение, окажусь на необитаемом острове, там непременно обнаружится какой-нибудь плотный, добротнo сработанный немец, сядет рядом со мной на песок и философски скажет: «Du scheisse»<sup>1</sup>, — выразив, таким образом, наше общее мнение о сложившейся ситуации.

Но с женщиной в красной ветровке можно было поговорить о более жизнеутверждающих вещах. Например, как нас обоих зовут. И как это нам обоим приятно. И какой прекрасный город Нанси. И как удивительно, что мы вот так случайно встретились в этом маленьком парке. Мне-то рассказывать было особо нечего — приехал сюда на день из Парижа, просто так, посмотреть, раньше никогда тут не был. Нет-нет, я во-

---

<sup>1</sup> По эмоциональному наполнению это восклицание ближе всего к русскому «ой, бля».

все не в Париже живу, а в Берлине... Бабушка оттуда родом? Успела в свое время сбежать из Восточного? Ну надо же, какая молодец! И все в таком роде.

Белобрысая Биргит, похоже, сама не заметила, как уселась рядом со мной. Неодобрительно покосилась на мою сигарету, но тут же робко поинтересовалась, не найдется ли у меня еще одна?

— Потому что, — смущенно объяснила она, — я, вообще-то, бросила. Полгода назад. Уже в пятый раз. Это просто проклятие какое-то: я все время что-нибудь бросаю! Сперва — курить. Потом — есть. Потому что стоит бросить курить, и сразу начинаешь толстеть, никакой спорт не помогает. А мне нельзя толстеть, у меня и так фигура не очень, а все лишние килограммы откладываются на бока, и я становлюсь как веретено... И вот я голодаю день, другой, третий, потом срываюсь, покупаю какую-нибудь колбасу, ем ее с наслаждением, ненавижу себя и весь мир, и тут, наконец, вспоминаю, что табак прекрасно глушит чувство голода. Иду за сигаретами, и не жрать становится гораздо проще. Наконец, я получаю обратно свою более-менее сносную фигуру, успокаиваюсь и снова бросаю курить. И все начинается сначала... А сейчас, по-моему, самое время закурить, — вздохнула она, яростно ущипнув себя за бок. И добавила: — Ужас в том, что я сама прекрасно понимаю, что веду себя, как идиотка. Но это совершенно ничего не меняет!

— Все мы ведем себя, как идиоты, — примирительно сказал я. — Просто некоторые особо одаренные экземпляры это о себе знают, а все остальные — нет. Так что добро пожаловать в ряды интеллектуальной элиты.

Биргит расхохоталась, хотя, вообще-то, моя унылая ирония не заслуживала столь бурной реакции. Видимо, табак после долгой разлуки действовал на нее как марихуана.

— Ты определенно великий философ и вообще хороший человек, — внезапно заключила она, отсмеявшись. — А значит, ты сможешь мне залезть на дерево. Другого я бы постеснялась попросить. А тебе, видишь, уже все сказала.

— Нет проблем, — согласился я. — На какое дерево?

Она возмущенно на меня уставилась — дескать, сам, что ли, не понимаешь, на какое? — и молча ткнула пальцем в направлении почтового ящика.

— Почту надо проверить?

Вопрос был сформулирован ехидным внутренним скептиком, но, к счастью, озвучил его я сам, наивная жертва телефонного недоразумения, явившаяся в этот заброшенный парк за мифической «корреспонденцией», поэтому реплика вышла скорее сочувственная, чем ироничная.

— Вот именно, проверить, — кивнула Биргит. Помолчала и почти неохотно добавила: — Понимаешь, этот почтовый ящик — просто легенда. Его, по идее, не существует. Но мне сейчас очень-очень надо, чтобы он все-таки был. Я его уже давно ищу — везде, вернее, в самых неподходящих местах, где не может быть никаких почтовых ящиков. И — вот, видишь? Может быть, это он и есть? Ну, мало ли.

— А что за легенда-то? — спросил я.

— Я даже не уверена, что эта история тянет на полноценную легенду, — смущенно сказала Биргит. — Про-

сто есть такая тема, которая время от времени всплывает в разговорах, кто-нибудь да скажет как бы в шутку, что этот город порой вступает в дружескую переписку со своими жителями. Не со всеми, конечно. Только с важными для него персонами. Рассказывают, например, что когда польский король Станислав только-только стал лотарингским герцогом<sup>1</sup> и прибыл в Нанси, таинственный посланец в стеклянном плаще вручил ему приветственное письмо якобы от главы семейства Вож<sup>2</sup>. А когда несколько дней спустя Станислав решил лично поблагодарить отправителя за добрые слова и дельные советы, выяснилось, что такой семьи нет не только в Нанси, но и во всей Лотарингии.

Заметив, наконец, мое недоумение, она пояснила:

— «Вож» — так здесь называют восточный ветер. Герцог этого, понятно, тоже не знал, а когда узнал, сперва рассердился, что его разыграли, но потом решил, что советами из такого источника пренебрегать не следует, и правил, как принято говорить в таких случаях, долго и мудро... Но это — просто байка. Я хочу сказать, письмо от семейства Вож в архивах не сохранилось, и никаких упоминаний о нем в других документах не осталось. Вообще ничего, кроме самой истории, которую,

---

<sup>1</sup> Станислав I Лещинский — воевода познанский, был избран королем Польши под нажимом Швеции, но не признан большинством шляхты. Поражение Карла XII под Полтавой (1709) лишило Станислава поддержки шведских войск, он эмигрировал в Пруссию, а затем во Францию. В 1738 году окончательно отказался от притязаний на польский престол и получил во владение Лотарингию, столицей которой был город Нанси.

<sup>2</sup> Вож, вогез (*фр. vosges*) — так в Нанси называют восточный ветер.

впрочем, тоже мало кто знает. А вот что касается Эмиля Галле<sup>1</sup>...

— А что было с Эмилем Галле? — Оживился я. — К нему, что ли, тоже гонца отправляли?

— Это, кстати, совершенно прекрасно и удивительно, что ты не спрашиваешь, кто он такой. Можно подумать, я умерла и оказалась в специальном раю для искусствоведов. Это такое замечательное место, где все происходит примерно как при жизни, просто каждый случайный прохожий знает, кто такой Эмиль Галле. И это полностью меняет ситуацию.

— А ты, выходит, искусствовед?

— Ну да. И Эмиль Галле — как раз моя тема. Я уже много лет занимаюсь Нансийской школой, точнее, их стеклом, а по стеклу как раз Галле главный. Я, собственно, затем в Нанси и приехала — монографию о его «говорящем стекле»<sup>2</sup> писать, и тут вдруг все так закрутилось... Неважно. Важно, что про Эмиля Галле я знаю, пожалуй, больше, чем он сам о себе знал при жизни, хотя бы потому, что у него не было возможности дневники и личную переписку своих родных и знакомых читать, а у меня — есть. Так вот. Была одна история,

---

<sup>1</sup> Эмиль Галле — французский художник и дизайнер, один из основателей стиля «Ар Нуво». Родился в Нанси 8 мая 1846, в семье предпринимателя, производившего художественное стекло и керамику. Занимался рисованием и стеклоделием, а также ботаникой, минералогией и философией. После ухода отца на покой возглавил семейное дело и завел собственную мастерскую. В 1901 по инициативе Галле был организован «Провинциальный альянс художественной промышленности», позднее известный как «Школа Нанси», который стал вторым (после Парижа) центром французского «Ар Нуво».

<sup>2</sup> «Говорящими» называют стеклянные изделия Эмиля Галле с цитатами из Бодлера, Вийона, Верлена и других поэтов.

о которой сам Галле ни разу не упомянул — я имею в виду, письменно — зато в чужих пересказах якобы с его слов она встречается аж четырежды. Причем, одна свидетельница — женщина из Веймара, где он учился, задушевная подруга юности, переписку с которой Галле поддерживал на протяжении всей жизни, иногда, правда, с перерывами на несколько лет. В общем, практически нет шансов, что она была знакома с тремя другими источниками, а значит, велика вероятность, что история действительно известна ей со слов самого Галле... Ладно, на самом деле все это не очень важно. Как бы мы ни хотели сделать историю точной наукой, а она все равно никогда ею не станет.

К самой бессмысленной болтовне, если она ведется по-немецки, я привык относиться, как к бесплатному уроку разговорного языка, и принимать ее с благодарностью, но тут понемногу начал терять терпение.

— И что именно случилось с Эмилом Галле?

— Однажды, еще студентом, Галле вернулся в Нанси — к родителям, на каникулы. Он прогуливался по парку — какому именно, источники, к сожалению, не сообщают — и вдруг заметил почтовый ящик чуть ли не на самой верхушке высокого дерева. Залез туда из любопытства и обнаружил в ящике открытку. А на открытке — горящая лампа с прозрачным абажуром, разрисованным диковинными цветами. Представляешь?!

На этом месте Биргит почему-то умолкла, адресовав мне смущенный и одновременно торжествующий взгляд.

— И что там было написано? — Спросил я.

— Понятия не имею. Скорее всего, ничего... Ой, дошло! Ты, наверное, просто не знаешь, что именно Эмиль Галле первым стал расписывать прозрачные абажуры, чтобы цвет прозрачных красок смешивался со светом лампы, до него так никто не делал. Даже Тиффани начал чуть-чуть позже. Значит, когда Галле был студентом, открытки с таким изображением просто не могло быть. Но она была! И подсказала ему грандиозную идею. В этом все дело.

— Круто, — откликнулся я. Впрочем, без особого энтузиазма. История про открытку меня скорее разочаровала. Подумаешь — расписной абажур. Тоже мне величайшая идея всех времен. Спасенное человечество кланяется в пояс.

— Ты не понимаешь, — огорчилась Биргит. — Потому что я неправильно рассказываю. Надо было сперва упомянуть разные важные обстоятельства. Например, сказать, что у Галле тогда был очень непростой период жизни. Он изучал ботанику, химию и одновременно философию. Эти науки интересовали его больше, чем стекло и керамика, которыми занимался отец. А тот, в свою очередь, мечтал вслух: вот, закончишь учебу, передам тебе свое предприятие, уйду на покой с легким сердцем. Если бы Эмиль решительно не желал заниматься отцовским делом, было бы проще, всегда можно наотрез отказаться. Но проблема в том, что он и этого тоже хотел всем сердцем — быть художником, рисовать, лепить, мастерить красивые вещи. Столько всего хочется сделать, а жизнь всего одна, не успеть. Бедняга просто на стенку лез, не зная, что выбрать! И тут вдруг почтовый ящик на дереве, и эта открытка. Дело даже не в том, что

годы спустя воплощение идеи принесло Галле славу и большие доходы. Просто в этой лампе с расписным светящимся абажуром все вдруг чудесным образом соединилось: отцовское стекло как основа, знание ботаники, необходимое для создания растительного орнамента, химия, чтобы составлять специальные прозрачные краски, ну и философия — это же, понимаешь, такая специальная невидимая колба, превращающая любое действие в алхимическое чудо. И тогда он вдруг понял, *как можно*. И решил для себя, как все теперь будет — раз и навсегда. И с того дня был счастлив. По его собственному утверждению, всегда, что бы ни происходило в жизни. Потому что счастье — естественное состояние человека, который знает свое предназначение и следует ему, для такого любые житейские невзгоды — просто рябь на поверхности. Теперь понимаешь?

— Теперь понимаю, — эхом откликнулся я. И не удержался от вопроса: — Ты поэтому хочешь залезть на дерево? Думаешь, там, в ящике, какая-нибудь открытка? Специально для тебя?

— Конечно, ничего такого я не думаю, — вздохнула Биргит. — Это было бы очень глупо, тебе не кажется?

Я понимающе улыбнулся, и она, чуть помедлив, тоже.

— Поэтому я не думаю, а просто надеюсь. Надежда сама по себе довольно дурацкое чувство. Надеяться можно на что угодно, в том числе, на всякие глупости, которые нормальному человеку и в голову не придут.

Надо же, родная душа. Ее рассуждения были ужасно похожи на мои дипломатические отношения с внутренним скептиком: всерьез обдумывать всякую чепу-

ху я, из уважения к его могучему интеллекту, конечно, не стану. Разве только втайне надеяться, что... Что.

Я наконец вспомнил, за каким чертом сам притащился в этот парк. Дурацкое телефонное сообщение, написанное кириллицей, тревожное и прельстительное: *«Ваша корреспонденция доставлена по адресу: Nancy, Rue Sellier, Jardin de la Citadelle, почтовый ящик»*. Это что же получается, замирая от восторга, спросил я себя. На дереве, что ли, *тот самый* почтовый ящик? Там для меня, выходит, послание припрятано? И получив его, я внезапно пойму, *как можно?* И с этого момента буду счастлив всегда, что бы ни случилось, потому что человеку, который узнал свое предназначение, иначе нельзя? О, господи.

Мой внутренний скептик отвернулся и демонстративно зажал уши, не желая иметь никакого отношения к происходящему. Но без него оказалось даже лучше. Я открыл было рот, чтобы рассказать Биргит про sms и предложить ей поучаствовать в получении моей таинственной корреспонденции, но она заговорила первой, и я не стал перебивать.

— Понимаешь, и герцог Станислав, и Эмиль Галле — они знаменитости, великие люди, каждый в своем роде. А про знаменитостей чего только не рассказывают. Я бы не стала искать этот почтовый ящик, если бы не Доротея. Она — хозяйка квартиры, которую я снимаю. Уж точно не знаменитость. Хотя, конечно, обычной дамой ее не назовешь. Ей уже почти шестьдесят, а с виду больше сорока не дашь. Красивая — слов нет. И светится изнутри, как лампы Галле, которыми я тебе зачем-то все уши прожужжала. И вечно занята по гор-

ло, у нее художественная студия, где дети учатся рисовать вместе с родителями, два литературных клуба, один для читателей, а второй для любителей придумывать детективные сюжеты, раз в неделю она проводит экскурсии по городу, причем только для местных жителей, которые давно привыкли жить среди этой красоты и поэтому ее не замечают, и еще что-то — я, видишь, запомнить не могу, а она все это придумала, организовала и уже много лет на себе тянет. И, похоже, ужасно счастлива... Так вот, мы как-то незаметно подружились, я вообще легко схожусь с людьми, и однажды Доротея мне рассказала, что прежде жила совсем иначе: бездельничала, скучала, часто болела, детей не завела, и муж ее, как водится, бросил ради молоденькой студентки, после двадцати лет совместной жизни — что еще надо женщине, чтобы почувствовать себя абсолютно несчастной? Говорит, что не покончила с собой только потому, что трусиха, никаких иных резонов жить дальше у нее не было. И тут в один прекрасный день она обнаружила на пороге извещение. Дескать, на ваше имя пришла корреспонденция, будьте любезны явиться по адресу...

— Улица Сельер, сад Цитадели, — продолжил я.

— Нет-нет-нет. Парк Шарля Третьего. Это в другой стороне, возле реки. Неважно. В общем, совсем рядом с ее домом, поэтому Доротея не удивилась, решила, что почтовое отделение переехало по другому адресу. В парк, так в парк, чего только не случается. И пошла. Но в парке, конечно, никакого почтового отделения не было, только клумбы, кусты, скамейки и мамы с колясками. Доротея ужасно расстроилась, села на ска-

мейку под деревом в стороне от прогулочных дорожек, чтобы никто ее не видел, расплакалась, и никак не могла успокоиться — ну, знаешь, как бывает, когда все плохо, любая мелочь может стать последней каплей. Сидела, рыдала, и вдруг почувствовала, что в ее затылок упирается что-то твердое. Обернулась, а там, на дереве, металлический почтовый ящик. Самый обычный, точно такой же, как у нее дома, только без номера квартиры и прикручен к стволу куском каната с обрывками тряпичных флажков, как будто его на каком-нибудь детском празднике позаимствовали. И Доротея так удивилась, что даже плакать перестала. А потом увидела, что ящик приоткрыт, и внутри что-то белеет. И, почти не соображая, что делает, протянула руку и взяла конверт. А там ее фамилия. И внутри — нет, не открытка, а просто письмо. Доротея мне не пересказывала, что там было написано. Только сказала, что нашла в письме очень простые и понятные ответы на все вопросы, которые у нее никогда не хватало смелости себе задать. И что назвать это письмо спасательным кругом для утопающего — значит очень сильно преуменьшить его значение. И что с тех пор все стало совсем иначе... И вот ее история меня зацепила. Так зацепила, что я уже который день по паркам брожу, и не только по паркам, хотя мне-то никакого извещения не присылали... Но все равно.

— Погоди, а почему ты просто не пошла в парк не помню какого по счету Шарля?

— Третьего. Конечно же, я туда пошла. Первым делом! Но там не было никакого почтового ящика. Понимаешь, не факт, что он всегда висит на одном и том же

месте. Доротея говорит, что слышала похожую историю от человека, который нашел почтовый ящик с каким-то важным для него письмом на набережной Мёрта<sup>1</sup>. Он там просто валялся, как сломанный стул. Это, конечно, может быть выдумка. И история самой Доротеи тоже. Она вполне могла меня разыграть, почему нет. В Нанси, как, наверное, в любом другом городе, обожают потешаться над приезжими, особенно над романтичными натурами, вроде меня. Мне вон недавно на университетской вечеринке коллеги с серьезными лицами описывали торжественный выезд герцога Станислава, который якобы можно увидеть на площади в самую темную майскую ночь, и любезно подсказывали, что ближайшее новолуние двадцать четвертого мая, то есть, буквально на днях, надеялись, я побегу проверять... А все-таки сюжет с письмами и почтовыми ящиками повторяется слишком часто. И нравится мне так сильно, что я просто не могла не поверить. И, потом, мне сейчас, кажется, вообще больше не на что надеяться, — вздохнула она. Смутилась, словно сказала лишнее, но тут же встряхнулась и деловито спросила: — Так ты сможешь мне забраться на дерево? Подсадишь?

Я открыл было рот, чтобы рассказать наконец свою историю и объявить, что там, на дереве, *мой* почтовый ящик, а в нем *моя* корреспонденция, но в последний момент передумал. Чего зря болтать. Пусть лезет, если так припекло, а там видно будет — чья это корреспонденция, если она там вообще есть, в чем я очень со... Да нет, вру. В тот момент я не испытывал никаких сом-

---

<sup>1</sup> Мёрт (Meurthe) — река, на берегах которой стоит Нанси.

нений. Внутренний скептик уставился на меня, разинув рот, словно впервые увидел. И его можно понять.

Я, впрочем, и без его подсказки осознавал, что со мной творится неладное. Получить необъяснимое телефонное уведомление и из любопытства явиться по указанному адресу — это еще куда ни шло. Заинтересоваться обнаруженным в парке почтовым ящиком — совершенно нормально, а кто бы на моем месте не заинтересовался? Выслушать все, что рассказала мне первая встречная эксцентричная фрау — ладно, допустим; в конце концов, это был очередной экзамен по разговорному немецкому, который я сдал на твердую «пятерку», понял все, до единого слова. Но пялиться на облезлый почтовый ящик, как на святыню — это уже перебор. Думать: «Там очень важное послание, которое перевернет мою жизнь», — как минимум, глупость. А сказать себе: «Ладно, пусть сначала девочка посмотрит, ей, похоже, здорово приспичило», — это уже натуральное безумие. Потому что пока ты чего-то для себя хочешь, пусть даже чуда — все более-менее в порядке, желание вовсе не тождественно вере. Но когда ты готов что-то отдать, значит, полагаешь, будто оно у тебя есть. Это уже не слепая вера, а твердое знание. Верный признак безумия, если называть вещи своими именами.

И если продолжить называть вещи своими именами, придется признать: в тот момент я совершенно точно знал, что в почтовом ящике на дереве лежит послание, которого я ждал всю жизнь, сам не понимая, чего жду. И одновременно я знал, что если ящик откроет Биргит, окажется, что письмо адресовано ей, а я оста-

нужно не у дел, жалким очевидцем, которому, в случае чего, никто не поверит, так что и пробовать рассказать эту историю бессмысленно. Таковы правила игры, я их не придумал, они существуют сами по себе — и очень жаль, кстати, будь это мои фантазии, в них непременно нашлось бы место достойному компромиссу, мы с Биргит достали бы из этого чертова ящика, как минимум, два письма, а лучше — еще дюжину, для родных и близких, чтобы все были довольны.

Я, видимо слишком долго молчал, потому что Биргит почти шепотом повторила свой вопрос:

— Так ты мне поможешь?

Она была такая трогательная — стриженная, бело-брысая женщина без возраста, похожая на мальчишку, в бесформенной одежде, с дурацким розовым рюкзаком. На лице запоздалое смущение, а в глазах — такая дикая смесь надежды и страха, что я предпочел не заглядывать глубже, не высматривать, что заставило ее цепляться за дурацкую городскую легенду, как за единственный шанс на спасение — от чего, от кого? Не хочу этого знать. Пусть лезет в ящик, пусть найдет там свое письмо. Ей, похоже, действительно очень надо.

— Конечно помогу, — улыбнулся я. — Если ты встанешь мне на плечи, скорее, всего, дотянешься.

— А ты выдержишь? — Забеспокоилась Биргит. — Я сейчас такая толстая! Шестьдесят семь килограммов, — и, мучительно покраснев, поправилась: — Это две недели назад было шестьдесят семь, а теперь, наверное, уже все семьдесят...

— Какая ерунда, — мужественно сказал я. — Кстати, при твоём росте вполне нормальный вес, так что не выдумывай.

Как бы я ни храбрился, но природа, увы, создала меня не для переноски тяжестей, а с какой-то иной, до сих пор неведомой мне целью. Поэтому когда я присел на корточки, и Биргит вскарабкалась мне на плечи, я едва не завалился на бок. А когда осознал, что сейчас мне предстоит подняться с этим грузом, окончательно утратил надежду на успех нашего предприятия. Но все-таки начал понемногу выпрямляться, упираясь руками в кленовый ствол. Биргит тоже держалась за дерево, старалась перенести на него часть своего веса, и вообще помогала мне, как могла. Думаю, у нас все получилось лишь потому, что ее вера в меня была несокрушима.

Когда Биргит крикнула: «Есть!» — я ушам своим не поверил, но присел, медленно и аккуратно, и только когда она, наконец, слезла, позволил себе расслабиться и тут же рухнул на траву, как мешок с навозом — при условии, что мешки с навозом способны испытывать облегчение и блаженство.

— Я тебе что-то повредила? — Испуганно спросила Биргит.

— Не выдумывай, — отмахнулся я, вытягиваясь в полный рост. — Мне хорошо. Так что, там было какое-то письмо?

— Было! Есть! Я взяла! — звенящим от счастья и ужаса голосом доложила Биргит. И шепотом добави-

ла: — Оно мне! Тут мое имя. Мое имя! Только теперь открывать страшно.

— Мне бы тоже было страшно, — сказал я. — Но я бы все равно сразу открыл. Пока оно не передумало.

— Кто — «оно»? — Растерянно спросила Биргит.

— Письмо, конечно. Пока оно не передумало быть адресованным мне.

Слышал бы меня сейчас внутренний скептик.

Но на Биргит мои слова подействовали: она, наконец, вскрыла конверт, достала оттуда сложенный вчетверо бумажный листок, развернула, принялась читать. А я лежал на спине и смотрел снизу вверх, как меняется ее лицо. Как уходит напряжение, разглаживаются морщинки, а глаза начинают сиять. Преображение это было столь стремительным и великолепным, что я вдруг почувствовал себя лишним. Такие вещи должны происходить с человеком, когда он один, подумал я. Без свидетелей, без посторонних.

Я осторожно поднялся и, стараясь ступать беззвучно, пошел прочь. Напрасная предосторожность — Биргит сейчас, пожалуй, и на работающую газонокосилку не обратила бы внимания. Весь мир временно исчез для нее, и я вместе с ним. Оно и к лучшему.

Все к лучшему, абсолютно все, говорил я себе час спустя, сидя на скамейке в парке имени Шарля Третьего, куда, разумеется, не мог не пойти.

Ей было очень надо, ты это сам видел, а потом ты видел, как исчез ее потаенный страх, и это было лучшее зрелище в твоей жизни, — напоминал я себе два часа

спустя, за столиком уличного кафе, разбавляя душевную горечь горчайшим эспрессо, сваренным из тщательно сожженных зерен с лучших бразильских плантаций.

В конце концов, зачем тебе какое-то послание, пусть даже самое расчудесное, спрашивал я себя три часа спустя, на углу улиц святого Николая и не менее святой Анны, которые, если верить купленной утром карте, не могли пересекаться, поскольку шли параллельно друг другу. У тебя все и так хорошо, напоминал я себе, жизнь твоя прекрасна и удивительна, хоть и не соответствует порой ожиданиям — так она вроде бы и не должна.

Тем более, там наверняка была написана какая-то херня, — на этот раз внутренний скептик действовал из наилучших побуждений. Он всерьез полагал, что меня можно таким образом утешить.

Это у меня на лбу написана какая-то херня, огрызнулся я. И в книге судеб напротив моего имени заодно. Огненными скрижалями.

Но, вопреки столь мрачному ходу мыслей, я вдруг улыбнулся, потому что снова вспомнил, как менялось лицо Биргит — прежде я никогда не думал, что человек может так преобразиться за одно мгновение, а теперь знаю — бывает.

Собственно говоря, возможно это и было послание, адресованное тебе, балда, подумал я. Важная информация, внятный ответ на вопрос, который ты нипочем не додумался бы задать. Тебе сейчас прыгать от радости надо, а не таскаться с унылой рожей по прекрасному городу Нанси, который, честное слово, не заслужил подобного отношения.

Мне вдруг стало так хорошо, что я решил никуда пока не идти, чтобы не расплескать это удивительное ощущение *покоя и воли* — вот какое состояние, оказывается, описывает давно опостылевшая мне цитата, пока не попробуешь, не узнаешь, как это бывает, и ни черта не поймешь.

Я присел на ступеньку ближайшего дома и сидел так долго-долго, подставив лицо горячему солнцу и холодному ветру по имени Вож, который сперва всласть наигрался с моими давно не стриженными волосами и лапами распахнутой куртки, а потом вдруг швырнул мне под ноги бумажный комок и притих, выжидая.

В другое время я бы на эту скомканную бумажку внимания не обратил, а теперь поднял, развернул, разгладил и, наконец, решился посмотреть — что там?

Там было написано от руки, бегло и неразборчиво: «Все только начинается», — и больше ничего. Никаких разъяснений — что именно начинается, для кого, когда и зачем, и как в связи с этим я должен себя вести. Но этого оказалось достаточно, чтобы мы с внутренним скептиком дружно перевели дыхание, обнялись от полноты чувств, поерзали на ступеньке, устраиваясь поудобнее, и сидели так долго-долго, а потом...

# В

**К**огда умолкли колокола Гроссмюнстера<sup>1</sup>, а секундой позже — Фраумюнстера<sup>2</sup>, вторившие им с другого берега Лиммата, и наступила так называемая *тишина*, густо замешанная на разноязыком гуле голосов, урчании автомобильных двигателей и перезвоне резвых синих трамваев, я услышал, что где-то поблизости играет орган — недостаточно громко, чтобы я мог вот так сразу разобрать мелодию, но и не настолько тихо, чтобы сказать себе: «померещилось». Пожал плечами —

---

<sup>1</sup> Grossmünster (великий монастырь) — самый большой собор Цюриха, церковь при мужском монастыре на правом берегу Лиммата. Сердцевина здания была построена на месте предыдущего строения в 1100 году. По легенде, Гроссмюнстер был основан Карлом Великим, чей конь упал на колени на могиле Феликса и Регулы — святых покровителей Цюриха.

<sup>2</sup> Fraumünster (женский монастырь) — женское бенедиктинское аббатство, которое в 853 году основал король Людвиг II Немецкий для своей дочери Хильдегарды. В 1045 году король Германии Генрих III даровал монастырю право владеть рынками, собирать пошлины и чеканить монеты, фактически сделав аббатису главой города. Аббатство перестало существовать в 1524 году. Теперь Фраумюнстер — просто церковь на левом берегу Лиммата, знаменитая, в первую очередь, благодаря витражам работы Марка Шагала и Августо Джиакометти.

дескать, надо же, чего только не бывает, пошел дальше и лишь сделав несколько десятков шагов, понял, что уже не просто бреду куда глаза глядят, а целеустремленно направляюсь к источнику звука. Всегда подозревал, что при случае потащился бы за дудочником из Гамельна на край света, даже если там, на краю лишь огонь и вода; выходит, за органистом из Цюриха — тоже, как миленький.

Он, впрочем, оказался баянистом — такова была глубина моего падения. Толстый старик с баяном, одетый как огородное пугало из зажиточной усадьбы, сидел на раскладном стуле у входа в Вассеркирхе<sup>1</sup>, у ног распахнутый чемодан выставил на всеобщее обозрение плюшевую подкладку цвета небесного гнева, рядом пластиковая лоханка для пожертвований, почти до краев наполненная мелкими монетами. Из центра этой нелепой композиции лилась Баховская fuga, не то До, не то Ре мажор, короче, *та самая* — тот факт, что я всегда теряю разум, услышав первые же аккорды, совершенно не помогает запомнить название; скорее, наоборот. На почтительном расстоянии топталась добрая дюжина опьяненных внезапной культурной атакой жертв; теперь я был одним из них, и ничего не мог с этим поделать. Бах есть Бах, в любом исполнении.

---

<sup>1</sup> Wasserkirche (что значит «Водная Церковь») построена в 10 веке, реставрировалась в разное время и была полностью реконструирована к 1486 году. Она стоит на небольшом островке на реке Лиммат, который стал частью правого берега, после постройки набережной Limmatquai в 1839 году. Это место, использовавшееся для культурных собраний, начиная с античных времен, центрировано вокруг камня, находящегося ныне в крипте церкви.

И, кстати об исполнении. Самое поразительное, что оно абсолютно меня устраивало — даже теперь, после наглядного знакомства с недостойным источником божественных звуков. И не потому что я утратил последние остатки критического подхода к действительности, это проклятие, боюсь, никогда меня не оставит, просто музыка звучала безупречно, не придерешься. Что-то тут было не так. Вернее, вообще все не так. Я знаю, что фуги Баха вполне можно воспроизвести на баяне, в конце концов, тоже духовой инструмент, слабоумный младший братец органа. Но звучит он совершенно иначе. Я, конечно, не музыкант, но до сих пор был уверен, что баян от органа худо-бедно отличить способен. И вдруг так облажался. Надо же.

Только когда музыка умолкла, и вместо тишины на нас обрушился громкий треск, в котором я не без труда опознал шум аплодисментов, до меня, наконец, дошло. Боже милостивый, да это же просто запись. Чемодан тут не для красоты стоит. В нем спрятано воспроизводящее устройство. То есть, я все-таки не рехнулся, это была самая настоящая органная музыка — в записи. А хитрый дед просто исполнял пантомиму, его баян и звука не издал. Смешно, кто бы спорил.

Я заметил, что старик на меня смотрит, внимательно и лукаво — дескать, как я тебя провел? Я невольно улыбнулся, укоризненно покачал головой и погрозил ему пальцем — обманывать нехорошо! Баянист скорчил постную физиономию кающегося грешника, смиренно кивнул, но тут же ухмыльнулся и выразительно ткнул указующим перстом в направлении емкости для денег.

Дескать, сперва заплати за развлечение, а потом привередничай. И тогда я, может быть, снова сделаю вид, будто мне стало стыдно.

Я счел требование вполне справедливым, выгреб из кармана несколько полуфранков, присоединил их к даяниям своих многочисленных предшественников, отошел в сторону, присел на каменный парапет набережной и приготовился слушать дальше. Бах есть Бах, и я не готов добровольно покинуть место, где звучит его музыка, пусть даже и в записи, не так уж я прихотлив.

Старый обманщик проводил меня взглядом, увидел, что я остаюсь, одобрительно кивнул и взялся за баян. Мир снова заполнился звуками органа, столь чистыми и глубокими, каких не во всяком концертном зале и далеко не с любым *настоящим* инструментом добьешься. Я снова подумал: что-то тут не так, а потом перестал думать, потому что музыка Баха словно бы специально создана для того, чтобы приводить мой разум в полную негодность, просто в некоторых особых случаях это происходит в первое же мгновение, а во всех прочих — секунду спустя.

Наконец музыка умолкла. Пока я приходил в сознание и разминал затекшие от долгого сидения ноги, публика как-то незаметно разбрелась, а баянист начал собираться. Пересыпал монеты в поясную сумку и принялся закрывать чемодан.

Убедившись, что концерт окончен, я стал обдумывать свой дальнейший маршрут, и тут старик вдруг обернулся ко мне и сделал столь недвусмысленный жест: «стой, где стоишь», — что я зачем-то кивнул, не-

решительно переступил с ноги на ногу, но никуда не пошел, а принялся смотреть, как он складывает стул. Лениво размышлял, как же бедняга все это потащит, и не следует ли предложить ему помощь. С другой стороны, справлялся же он как-то без меня вчера, позавчера, и вообще всю жизнь.

Он и сейчас превосходно справился. Передвинул перевязь так, что баян повис на спине, как нелепый громоздкий рюкзак, одной рукой взял сложенный стул, другой чемодан, но тут, похоже, снова вспомнил обо мне, оглянулся, подмигнул, как сообщнику, поставил чемодан на землю, и поманил меня, как любопытного, но оробевшего перед незнакомцем ребенка.

Я послушно встал и пошел к нему. Когда я приблизился на расстояние вытянутой руки и остановился, потому что куда уж ближе, старик одобрительно улыбнулся, зачем-то приложил палец к губам — дескать, помалкивай — воздел руку к небу и энергично ею взмахнул. Я помню, успел снисходительно подумать, что такой залихватский бессмысленный жест подошел бы провинциальному фокуснику, но тут раздались звуки органа, первые аккорды *той самой* фуги, которая не то До, не то Ре, а может и вовсе Соль мажор, и я застыл, как громом пораженный. Поначалу, помню, пытался сообразить, откуда она звучит теперь, когда чемодан закрыт, а потом уже ни о чем не думал, только стоял и слушал, только *был*.

Старый баянист, тем временем, подхватил свой чемодан и с прытью, какой не ожидаешь от человека

его возраста и комплекции, широкими, как прыжки, шагами удалился в сторону моста. Но музыка не становилась тише, и когда старик совсем скрылся из вида, она продолжала литься, пока не добралась до коды.

Я еще какое-то время стоял у Васеркирхе, счастливый и опустошенный, вспоминая, кто я такой, откуда здесь взялся, и что, собственно, означает «здесь», а потом, наконец, вспомнил, развернулся и улетел.

# У

*«Взрослые жители города Динь-ле-Бен носят каменные плащи, а дети ходят по улицам в позолоченных масках, без которых им не позволено показываться на людях».*

Это я когда-то написал. Нет ничего лучше, чем говорить и писать только правду, важно лишь отделять наиболее эффектные ее составляющие от прочих и преподносить их, как обычное информационное сообщение — сухо, лаконично, без словесных завитушек и прочих кондитерских излишеств.

Вот и тут я ничего не выдумал, просто изложил факты, другое дело, что не все. Опустил некоторые малозначительные подробности.

Если обстоятельно, ничего не упуская, рассказать, как было дело, большая часть очарования пропадет. Но тут уж ничего не поделаешь.

Я впервые попал в Динь-ле-Бен лет семь назад, совершенно случайно и находился там максимум полчаса, да и то только потому, что на окраине этого город-

ка приятелю, с которым мы колесили по Провансу, позвонил кто-то, как ему тогда казалось, чрезвычайно важный; теперь-то он вспомнить не может, что это был за звонок, вот что творит с нами время.

Но тогда он спешно припарковался у тротуара и попросил меня сходить за водой — дескать, наши запасы подошли к концу. Я не стал напоминать, что в багажнике еще как минимум две бутылки, ясно же, что человек хочет остаться наедине со своим невидимым собеседником, я и сам не люблю разговаривать по телефону в чужом присутствии — при том, что секретов у меня много меньше, чем полагается на среднестатистическую заблудшую душу населения; строго говоря, их вообще нет.

В общем, я пошел за водой, радуясь возможности размять ноги. Почти сразу приметил в конце квартала непрезентабельный бар с белыми пластиковыми столами у входа и двинул туда в надежде получить не только воду, но и чашку кофе.

Дело близилось к вечеру, на улицах было пусто, как будто карантин объявили, и тут из-за угла вышел человек, небрежно набросивший на плечи кусок плотной клеенки, имитирующей каменную кладку — такой иногда оклеивают стены бедняки с неутолимой тягой к прекрасному. Во всех остальных отношениях прохожий был совершенно зауряден — мужчина средних лет, с серьезным и сосредоточенным носатым лицом. Я бы его, наверное, и сейчас узнал, так он меня впечатлил.

Я долго глядел вслед этому стихийному кутюрье, сожалея об оставленном в машине фотоаппарате, а на-

любовавшись, нырнул в бар, купил четыре бутылки минеральной воды, залпом проглотил горький эспрессо, вышел на улицу и увидел, что навстречу мне шагает симпатичное семейство: молодая пара с дочкой лет пяти и совсем мелким мальчишкой. Родители в неброской повседневной одежде, зато потомство в карнавальных масках — видимо возвращаются с какого-нибудь детского праздника. На девице нечто золотисто-зеленое с кошачьими ушами и разноцветными перьями, а на ее братишке — классическая венецианская «баута»<sup>1</sup>, совершенно не подходящая к его крошечным размерам, тоже обильно позолоченная.

Я внутренне взвыл от восторга. Вернулся в машину, где уже нетерпеливо подпрыгивал вволю наговорившийся приятель, сказал небрежно: «Ну и городок! Взрослые здесь ходят в каменных плащах, а дети носят золоченые маски», — и вдруг понял, что именно так и надо рассказывать о городах: правду и только правду, просто не всю, а только самую интересную ее часть.

Я даже книгу такую собирался написать — своего рода путеводитель по Европе, перечень городов с короткими, в две-три строчки описаниями тамошних нравов и обычаев. Но, конечно, забросил, да и кому нужна эта книга. Ясно же, что ни один издатель даже стопкой газетной бумаги ради такой авантюры не рискнет, а по мне, если уж делать, то качественную, дорогую,

---

<sup>1</sup> Одна из самых популярных венецианских масок. Нижняя часть ее устроена таким образом, что обладатель маски может есть и пить, не обнажая лица.

с цветными картинками на каждой странице, как, скажем, издали «Книгу чудес» Марко Поло, потому что я, в сущности, и есть новый Марко Поло, не единственный, один из многих, очередной странник по Terra Incognita, очарованный разнообразием мира. А вы — в смысле, все остальное человечество, включая моих родных и друзей — псиглавцы, заклинатели рыб и люди с ногами-зонтиками, чьим причудливым поведением я никогда не перестану удивляться.

Короче говоря, я забил на эту затею. А какое-то время спустя, нашел в компьютере файл со старыми записями, перечитал, порадовался, выложил их в своем блоге, заново вдохновившись, написал еще дюжину, и снова благополучно забыл о несостоявшемся проекте. Время от времени мне о нем, конечно, напоминают. Очень забавно бывает, когда кто-нибудь из новых знакомых принимается рассказывать: прикинь, на юге Франции есть городок, где детям не разрешают выходить на улицу без масок. И в школу в масках ходят, и на спорт, и мусор выносят, то есть, вообще только на ночь их снимают, да и то не факт. Вроде, в этом городке раньше особо злобные ведьмы жили, а может, и до сих пор живут, народ боится, что младенцев сглазят, вот и придумали им лица закрывать, авось поможет. Двадцать первый век на дворе, а они...

Меня всегда поражала в ближних способность находить правдоподобные объяснения самым нелепым фактам. Это надо же — ведьм каких-то приплели, хоть стой, хоть падай. А все равно приятно наблюдать, как твоя дурацкая байка вдруг обретает историческую по-

доплеку, фольклорную глубину и документальную достоверность, превращается в легенду, которая, на мой взгляд, и есть наивысшая стадия развития правды.

Когда на страницах очередной интернет-газеты, из тех, чья бурная жизнь заканчивается аккурат накануне даты выплаты гонораров авторам первого выпуска, появилась статья о городе Динь-ле-Бен, где дети ни при каких обстоятельствах не выходят из дома без маски, я, помню, очень обрадовался. Автор молодец — вместо того, чтобы, как это обычно делают в изданиях такого уровня, тупо скопировать мою старую запись, присовокупив к ней бредовые домыслы о «защите от сглаза», потрудился как следует, нарыл по справочникам дополнительную информацию. Оказалось, Динь-ле-Бен не просто умеренно живописное захолустье, а столица департамента Альпы Верхнего Прованса, к тому же, курорт, известный своими минеральными источниками и даже центр изучения тибетского буддизма, кто бы мог подумать.

На фоне этих полезных сведений телега о детях в масках выглядела чрезвычайно достоверно, лучше даже, чем в моем лаконичном пересказе, которым я, впрочем, по-прежнему был доволен — теперь даже больше, чем когда-либо. Полюбил его задним числом, зато всем сердцем, как любят всякое неожиданно просшее семя.

*«Что же касается упомянутого в романе Виктора Гюго «Отверженные» обычая жителей Диня носить так называемые «каменные», а точнее, отделанные*

*тщательно отшлифованной речной галькой короткие плащи, — добавлял автор статьи, — следует признать, что современные горожане вспоминают об этой традиции только в особо торжественных случаях, причем, как правило, ограничиваются простой имитацией — плащами из ткани с соответствующим рисунком. Так что настоящие диньские каменные плащи теперь можно увидеть только на официальных лицах в дни городских праздников и в местном краеведческом музее — круглый год».*

На этом месте я озадаченно хмыкнул, перечитал абзац еще раз — да, действительно, *«упомянутого в романе Виктора Гюго «Отверженные» обычая»,* — так и написано, черным по белому, вернее, темно-коричневым по голубому, в соответствии с капризом фантазии веб-дизайнера. А я-то думал, мне тогда случайно городской сумасшедший на глаза попался... Или журналист просто развлекается, мистифицируя читателей? А что ж, святое дело, прекрасный способ получить удовольствие от работы, за которую вряд ли когда-нибудь заплатят. В общем, надо бы проверить.

«Отверженных» я, конечно, читал, но очень давно, еще в школе, и вряд ли внимательно — даже тот факт, что там вообще как-то упомянут городок Динь-ле-Бен, стал для меня сюрпризом.

Поскольку моя библиотека давным-давно рассеялась по миру, пришлось искать «Отверженных» в интернете. Нашел, открыл — смотри-ка, действительно начинается с того, что Шарля-Франсуа-Бьенвеню Мириэля назначают епископом Диня. Я принялся читать дальше и почти сразу, в первой же главе обнаружил:

*«Мириелю пришлось испытать судьбу всякого нового человека, попавшего в маленький городок, где много языков, которые болтают, и очень мало голов, которые думают, а под каменными плащами скрываются сердца, столь же мелкие и твердые, как пущенная на отделку речная галька»<sup>1</sup>. Надо же.*

— Ну ничего себе, — вслух сказал я. — Это, выходит, мне, дураку проезжему, сразу самое главное показали. А я не оценил. Но тогда получается, что и дети в масках?..

Я немного подумал и решил: нет, ни фига. Не получается. Плащи, к которым пришиты камни, — почему нет, особенно если только по торжественным случаям. Но про детей в масках — это все-таки просто трансформация моей байки. Не может такого быть, чтобы дети всегда в масках из дома выходили. Неудобно это. Негигиенично. И вообще мракобесие. А у нас двадцать первый век на дворе, ну.

Еще несколько месяцев спустя, поставленный перед необходимостью за пять минут до отхода поезда приобрести что-нибудь мало-мальски пригодное для чтения, я купил в вокзальном киоске журнал «Вокруг света», обожаемый в детстве, навеки похороненный вместе с другими любимыми игрушками тех времен, но внезапно обретший посмертное глянцевое существование. И, открыв его, сразу наткнулся на большой материал про Динь-ле-Бен. Большая, на весь разворот

---

<sup>1</sup> Та часть фрагмента, которая действительно соответствует оригиналу, приведена здесь в переводе А. Н. Коган и Д. Г. Лившиц.

фотография: дети разного возраста на пороге школы, некоторые позируют фотографу, некоторые бегут по своим делам. Все как один в масках — от самых простых, закрывающих только часть лица, до роскошных, в блестках и перьях.

Карнавал, неуверенно подумал я. На следующей странице будет статья о праздниках в Верхнем Провансе, или что-то в таком духе, потому что не может же быть...

Вопреки моим попыткам договориться с реальностью, внезапно взбунтовавшейся против моих ограниченных представлений о ее возможностях, статья была полностью посвящена удивительному, с точки зрения автора, консерватизму жителей Динь-ле-Бена, по сей день неукоснительно соблюдающих старинный обычай не выпускать детей из дома без масок — вплоть до совершеннолетия. Снимки, изображающие ряженых детишек, прилагались во множестве. Особенно эффектно выглядели грудные младенцы в ярких полумасках из мягкой (я всем сердцем на это надеялся) ткани.

Ох ты господи, подумал я. Как же далеко дело зашло. Славно, конечно, сложилась жизнь у моей старой байки. Но откуда взялись фотографии?

Фотошоп, — безапелляционно объявили остатки моего здравого смысла. Но в их устах этот железобетонный аргумент почему-то прозвучал крайне убедительно.

Несколько дней я честно старался выбросить из головы детей Динь-ле-Бена, но они набились туда, все до единого, и маски не забыли прихватить. Счастье, что

в городе с населением восемнадцать тысяч человек не так уж много детей, поэтому голова моя уцелела, не лопнула, не разлетелась на куски. Но думать я больше ни о чем не мог, это факт. В конце концов, понял, что не успокоюсь, пока собственными глазами не увижу, как обстоят дела, плюнул на срочную работу и почти полностью выпотрошенный банковский счет — а когда он у меня был в другом состоянии? — буквально чудом добыл «горящий» билет до Ниццы за полцены, заказал номер в дешевом по тамошним меркам отеле, и поехал, чувствуя себя полным идиотом и одновременно человеком, который в кои-то веки все делает *правильно*.

По прибытии первым делом побежал в агентство туристической информации: я очень надеялся, что существует какой-то простой способ добраться из Ниццы в Динь, не арендуя автомобиль. Во всяком случае, помнил, что это относительно близко. Все выяснил, получил расписание поездов и карту, на которой мне любезно отметили вокзал, с которого они уходят. Утром, повинуясь необходимости, подскочил в половине седьмого, на автопилоте добрался до вокзала, купил билет и только после этого проснулся окончательно, чтобы разобраться в какой из двух совершенно одинаковых коротеньких поездов, состоящих всего из одного вагона, следует садиться.

Всю дорогу я дергался по поводу предстоящей пересадки в Анно — согласно расписанию, интервал между прибытием и отбытием составлял всего четыре минуты, а мы, похоже, порядком опаздывали. Но судьба была милосердна: когда мы прибыли на станцию, кондуктор сделал какое-то неразборчивое объявление

и вышел из вагона. Все мои немногочисленные попутчики последовали за ним, и я тоже, нервно бурча себе под нос: «Лемминги никогда не ошибаются». И действительно не ошибся — кондуктор привел нас к автобусу, на лобовом стекле которого красовалась табличка «DIGNE-LES-BAINS». Не веря своим глазам, я сунул под нос водителю свой билет, спросил: «День?» — получил утвердительный ответ, с облегчением занял место у окна и намертво прилип к стеклу — оно того стоило.

Полтора часовая поездка через Альпы привела меня в состояние чрезвычайно приятное, но не слишком подходящее для пребывания среди людей. То есть, свое имя я еще худо-бедно помнил, а, скажем, первоначальную цель путешествия — уже нет. Вернее, подобная постановка вопроса просто не могла зародиться в моей бедной голове. Как это — зачем я сюда приехал? И какая, собственно, разница, зачем? Важно, что это случилось, что глазам моим открылось зрелище, забыть которое я, пожалуй, не смогу даже после смерти — при условии, что человек, чья память хранит такую информацию, вообще способен умереть. В чем я, честно говоря, очень сомневался в тот миг, когда стоял, прислонившись спиной к желтой стене здания автовокзала, крутил в руках машинально извлеченную из кармана сигарету, думал: какая забавная штукавица, интересно, для чего она?

Потом, конечно, вспомнил. И с другими насущными вопросами тоже как-то разобрался. Даже вызубрен-

ное на зубок расписание еще раз изучил — не то чтобы я сейчас всерьез опасался возможности не вернуться в Ниццу, просто стремился повторить только что пережитое удовольствие, чем раньше, тем лучше. Ближайший автобус отправлялся через два часа, следующий — аж через пять. Я решил, что двух часов мне за глаза хватит, чтобы разобраться с местными детьми и масками. Еще и кофе выпить успею. И не раз.

Улицы возле автовокзала были пусты. Я посмотрел на телефон, который уже давно заменил мне не только часы, но и календарь, выбралил себя за глупость — нашел когда приехать, в воскресный полдень, сейчас все местное население небось по домам сидит и выходить на улицу раньше завтрашнего утра не собирается.

Ну все-таки не средние века, примирительно сказал я себе. В центре наверняка кто-то шляется. По крайней мере, молодежь. В том числе, несовершеннолетняя. Вот и проверим.

Четверть часа спустя я увидел открытое кафе и понял, что нахожусь на верном пути. Кафе, работающее в воскресенье, в городе с населением восемнадцать тысяч человек, расположенном, к тому же, вдалеке от традиционных туристических троп, означает, что центр или очень близко, или вот прямо здесь, хотя до собора Святого Жерома, который видно из любой точки города, еще, по идее пилить и пилить — если я хоть что-то смыслю в перспективе.

На радостях я выполнил данное себе обещание, заказал чашку кофе у смуглой хозяйки, красивой,

но сонной, как зимняя муха. Разместился на табурете у входа, чтобы можно было закурить, и принялся глядеть по сторонам — вдруг случится чудо, и на пустой улице появится прохожий. А лучше — дюжина. И все с детьми.

Чудо однако предпочло случиться у меня за спиной. Я услышал, как в баре звенит детский голос, обернулся и увидел, что за стойкой рядом с сонной красоткой теперь восседает бойкая девица с тонкими косичками, в маске, изображающей очаровательного лягушонка. Рисует что-то фломастерами в альбоме, обеими руками одновременно, теребит мать, не то вопросы задает, не то просто требует внимания к своим трудам.

«Ну ведь вполне может быть какой-то праздник...» — робко заметил мой здравый смысл, но тут же заткнулся, увидев, сколь жалкой получилась его попытка уладить дело.

«А ты подойди и спроси», — нерешительно посоветовал он какое-то время спустя. Я выслушал совет, встал и, вместо того, чтобы вернуться в бар и выяснить, как обстоят дела, позорно ретировался со скоростью, превышающей возможности рядового пешехода. Бежал, однако, не обратно, на автовокзал, а по направлению к центру. Колокольня собора Святого Жерома указывала мне путь. Кстати, он был гораздо ближе, чем мне казалось. Ну или это я так быстро бежал.

На центральной площади и правда оказалось довольнолюдно. По ее периметру располагались кафе и рестораны, веранды которых были не то чтобы заби-

ты до отказа, но примерно наполовину заполнены. В центре площади катались на роликах и скейтбордах дети — все, как один, в масках, изображавших, по большей части, персонажей мультфильмов и комиксов. Молодой отец у входа в кафе вынимал из коляски младенца в красной тряпичной полумаске. У прилавка с мороженым мать большого семейства выдавала сладкий паек кролику, медвежонку, доктору Чуме и чертенку с аккуратными витыми рожками.

«Ну, все-таки воскресенье. Вполне может быть праздник», — ни к селу ни к городу вякнул мой разум и, устыдившись, умолк. Очень невовремя! Потому что, разглядывая всю эту благодушную воскресную публику, детей в причудливых масках и их невозмутимых родителей, я понял что-то очень важное — не то про себя, не то про весь мир — но сформулировать так и не смог. И до сих пор ношу в себе это смутное знание в надежде, что однажды оно само найдет в моем лексиконе подходящие слова, облачитя в них и тогда явится мне снова — точное, ослепительное, неопровержимое.

— Ты что здесь делаешь?

Не то чтобы я знаю французский. Но как-то сразу понял смысл вопроса. И обернулся, чтобы посмотреть на того, кто его задал. И увидел колоритнейшую тетку, тощую до прозрачности, смуглую до черноты, с крючковатым носом, острым подбородком и огромной копной растрепанных смоляных кудрей, словом, уместную скорее в умеренно страшном сне, чем наяву — даже

на таком сомнительном яву, которое выпало на мою долю здесь, в Дине.

Она что-то мне говорила, темпераментно размахивая руками, и столь недвусмысленно тыкала пальцем в ту сторону, откуда я пришел, что мне сразу стало понятно: эта мегера хочет, чтобы я отсюда убрался. Собственно, я и сам этого хочу. И ближайший автобус всего через час. Так что я, пожалуй, действительно пойду. Прямо сейчас. Чего тянуть.

Мегера, похоже, поняла, что я согласен уйти, заулыбалась и вдруг ласково поглядила меня по руке, так что я даже засомневался — да полно, неужели она меня только что прогоняла? Впрочем, автовокзал по-прежнему казался единственным местом в Динь-ле-Бене, где мне будет хорошо и уютно. По крайней мере, спокойно.

Ужасная женщина увязалась за мной, уже на краю площади потянула за рукав, извлекла из кармана стопку открыток. Я подумал, она ими торгует, покорно полез за мелочью, но она укоризненно покачала головой, выбрала из стопки одну открытку, изображающую фигуру старца в коротком плаще, точнее, перелине из небольших плоских камней, сунула ее мне, повелительно махнула рукой в сторону автовокзала — дескать, давай, давай, вали отсюда — и исчезла. Ну, то есть, наверное, просто ушла, пока я рассматривал открытку, вот и не заметил, куда она подевалась.

Только потом, уже в Ницце, укладывая открытку в папку с билетами, чеками и страховым полисом, чтобы не измялась окончательно, я заметил на ее обороте

надпись — несколько слов от руки, беглым, неразборчивым почерком: «*Le démiurge ne doit pas se promener selon les jardins*». Опознал всего два слова: «демиург» и «сад»; насчет «*promener*», впрочем, у меня тоже были здравые идеи, очень уж похоже на «променад». Но все это не приближало меня к разгадке. Поэтому я отнес открытку портье, который, на мое счастье, прекрасно говорил по-немецки, а этот язык я знаю много лучше прочих иностранных.

— Не понимаю, — задумчиво протянул он, разглядывая надпись. — То есть, слова понимаю, но какой в них смысл?

— Все равно переведите, — попросил я.

— «*Демиург не должен гулять по своим садам*», — послушно прочитал портье. И уже от себя добавил: — Почему это — не должен? И кто, интересно, ему запретит?

## 8

— **Б**удешь смеяться, но ехала-то я в Менд. Старинная подружка зазвала, она восьмой год замужем за тамошним жителем — вот столько мы, получается, и не виделись, в смысле, со дня ее свадьбы, да и там я всего полчаса высидела. Ее мама, понимаешь, хотела как лучше, чтобы все как у людей, наняла тамаду, простая душа, и как только он начал профессионально увеселять публику, я пулей выскочила на улицу, даже не прихватив с собой гребень, зеркало и платок на случай погони... Счастье, кстати, что жених по-русски почти не понимал, а то сбежал бы из-под венца, он же, знаешь, трепетный такой дядечка, ему бы дни напролет Верлена наизусть шпарить, а там хоть трава не расти.

Ну, в общем, когда Людка узнала, что я теперь в Париже, тут же взвилась: а ну, давай, дуй ко мне в Менд, душа пропащая. А я, понимаешь, как-то не очень хотела, мы же, считай, восемь лет не виделись, столько всего случиться успело, я уже почти забыла — ладно бы только Людку, но и ту девицу, которая с ней дружила, причем не то чтобы по собственному выбору, а потому что тезки, две Людмилы на факультете, Люд и Люс,

всем казалось, что будет логично, если мы подружимся и везде будем ходить вместе, и мы послушно подружились, оправдали ожидания, так, кстати, часто бывает... И теперь что ж, выходит, воскрешать давно забытую старую себя, которую помнит Людка, и начинать все сначала? А с другой стороны, когда еще будет повод съездить в Лозер. Я, знаешь, вовсе не так легка на подъем, как может показаться. То есть, очень даже легка, но только если понимаю, *зачем* надо ехать. Когда есть цель. Вот захотела с тобой поговорить и прилетела сюда как миленькая, не раздумывая. Но это потому что очень приспичило. А то бы еще долго не собралась, хотя близко, и билеты не намного дороже, чем в кино.

В общем, я помаялась, помаялась, и тут вдруг внезапно выяснилось, что группа, которую я должна пасти в начале следующей недели, не приедет, что-то там у них разладилось, а следующая только в четверг. И я поняла — это меня судьба уже буквально пинками гонит в Менд к Людке, лучше не сопротивляться, уж больно силы у нас неравные, и тут же купила билет — так, чтобы уехать в воскресенье утром и вернуться в среду вечером. Все рассчитала и спланировала, умничка.

Люс саркастически ухмыляется. У нее это отлично получается, Люс — чемпион по саркастическим ухмылкам. Уж на что я сам силен в этом виде спорта, но по сравнению с ней — жалкий любитель. Одного этого достаточно, чтобы растопить мое сердце: у меня слабость к людям, превосходящих меня в умениях, в которых я сам преуспел, даже таких пустяковых, как ухмылки.

Впрочем, у Люс я еще много чему могу поучиться. Уж на что я наловчился круто менять свою жизнь и, забив на так называемые «достижения», начинать все не с нуля даже, а с минусовой отметки, но и в этой области она для меня вполне авторитет. А я для нее — поддержка и опора.

Как-то легче дышится, когда точно знаешь, что в мире есть другие такие же придурки, — как-то сказала Люс. — Моей крыше приятно съезжать в сопровождении чужих крыш, выбравших примерно то же направление движения. Полное одиночество — хорошее дело в пределах собственной квартиры, но не в масштабах планеты. Знать, что по земле ходит пара-тройка похожих на тебя существ — необходимое и достаточное условие душевного комфорта.

В целом, я с ней согласен. Поэтому, когда (пару раз в год, не чаще, увы) выясняется, что Люс хочет повидаться, я бросаю все и начинаю приводить в порядок гостевую комнату, или, напротив, бегу покупать билет. Люс — это Люс, точка.

— Что бы я без тебя делала, — говорит она, принимая из моих рук полулитровую кружку с бергамотовым чаем.

Специально выбрала такой момент, чтобы можно было подумать — это она за чай благодарит. Но я-то знаю, не за чай, а вообще, в принципе. За сам факт моего существования. А Люс знает, что я знаю. Но мы оба можем делать вид, будто у нас просто происходит обмен формальными любезностями. А можем не делать.

— Никому, кроме тебя не могу рассказать про эту дурацкую поездку, — вздыхает Люс. — Даже себе не могу. Правда, правда. Просто сесть и вспомнить все по порядку, как было, не завираясь, в смысле, не искажая факты ради достоверности. Пробовала. Трудно. Очень трудно.

— О, — говорю. — О-о-о. Факты, которые хочется исказить ради достоверности. Это мне нравится.

— Мне, пожалуй, тоже, — неуверенно кивает Люс. — Когда другие рассказывают. А когда я сама наедине с собой молча их помню — уже не очень.

— Ладно уж, — улыбаюсь, — выкладывай, не тяни.

Но Люс все-таки тянет. Бродит по моей крошечной кухне с кружкой в руках, заглядывает в холодильник, закрывает его, так ничего и не выбрав, задумчиво гладит желтый бок лежащего на столе яблока, наконец, возвращается на подоконник, где стоит кружка с остывающим чаем, забирается туда с ногами, укладывает подбородок на колени и продолжает свой рассказ...

— Честно говоря, я еще на вокзале могла бы понять, что поездка будет та еще. Когда по перрону бредет толпа мужиков в рогатых шлемах с разноцветными чемоданами на колесиках, это, мне кажется, вполне себе внятный знак: «Осторожно, весь мир сошел с ума», или что-то в таком роде. Но я и бровью не повела. Заняла свое место, достала компьютер и принялась барабанить по клавишам — в моей жизни всегда есть место переводу, который скоро сдавать, как правило, завтра же; я сама не всегда понимаю, откуда они берутся, видимо, просто самозарождаются из информационного мусора, которого полно в окрестностях любой головы... В об-

щем, до Клермон-Феррана я глаз от экрана не поднимала, а там схватила свою сумку и побежала на автобус, у меня всего десять минут на пересадку было, а эти гады еще остановку перенесли и указатели не поменяли, еле успела, плюхнулась на сидение, пока отдышалась, мы уже поехали. Только тогда я наконец огляделась и обнаружила, что на соседнем сидении разместилась бородатая женщина... Почему ты не удивляешься? Можно подумать, ты бородатых женщин каждый день видишь. А вот лично я — впервые в жизни. Всегда была уверена, что это вообще выдумки. Ну, мужики в балаганах надевали платья с накладным бюстом, или тетки искусственные бороды клеили на радость зевакам. Но тут она сидела совсем рядом, и я готова поклясться: борода была самая настоящая. Ухоженная такая, аккуратно подстриженная, очень густая светло-каштановая борода. И бюст не накладной. У нее платье было с глубоким вырезом, так что без обмана. А сиськи здоровенные, даже не знаю, какой это размер — восьмой? Десятый? В общем — ух! Сиськи, борода и декольтированное платье в цветочек — немыслимое сочетание. И я так одурела от этого зрелища, что пялилась на нее во все глаза, не могла заставить себя отвернуться, сама не знаю, что на меня нашло. Наконец, даме это надоело, и она снисходительно так спросила: ну, чего пялишься? Тебя что, в детстве в цирк не водили? И я сказала: нет, не водили. Это, кстати, правда, я всего один раз в цирке была, родители его терпеть не могли, да и мне не особо понравилось, так что я больше не просила... Неважно. В общем, бородатая тетка пригорюнилась, пожалела меня — как же так, несчастный ребенок. Сказала:

сходи обязательно, при первой же возможности, и я пообещала: ладно, схожу. А потом она вышла в каком-то городке, я даже его название не разобрала, а я уткнулась носом в оконное стекло, за которым изгибались горные склоны и зеленели каштановые леса, и поехала дальше. Вроде как в Менд, к Людке, воскрешать призраки былого. То есть, я до последнего момента была в этом уверена. Пока водитель не объявил: «Марвежоль, авеню Руссель», — и автобус остановился на площади, у древних каменных ворот такой нечеловеческой красоты, что у меня дух захватило при мысли о том, что должно скрываться за этими воротами. И я, знаешь, вдруг подумала — а ведь если сейчас не выйду, фиг когда-нибудь еще сюда попаду. Это же глухомань, департамент Лозер, туристы им не интересуются, во всяком случае, не те, кого я пасу, а ради собственного удовольствия я сюда не вернусь, разве только к Людке стану регулярно ездить, но это, честно говоря, вряд ли, я от нее, скорее всего, сбегу навек, не дожидаясь среды.

И тут водитель подходит ко мне, настойчиво касается плеча: ваша остановка, мадам, просыпайтесь. Перепутал с кем-то, ясное дело, я ему свой билет до Менда показывала, но его ошибка оказалась последней каплей, я схватила сумку и пулей выскочила из автобуса, думая на бегу: вот и хорошо, вот и правильно, а Людке позвоню, скажу, не успела на пересадку, переночую в Клермон-Ферране, приеду завтра.

Пока я все это обдумывала, автобус уехал, и я осталась на площади. С одной стороны древние ворота, которые мне так приглянулись, с другой — бар «Le Diabolo», и так меня тронула эта наивная инферналь-

ность, что я немедленно отправилась туда и потребовала чашку кофе, а пока мне его готовили, обнаружила, что на втором этаже, над баром, маленькая гостиница, я ее тут же про себя окрестила «У черта на рогах», и там, конечно же, нашлась свободная комната, и не одна. Марвежоль, мягко говоря, не туристическая мекка, и слава богу, такая красота должна оставаться в забвении, на радость редким знатокам и транзитным пассажирам вроде меня.

В общем, я бросила в номере сумку с компьютером, чтобы случайно не засесть за перевод в ближайшем кафе, это у меня, понимаешь, как нервный тик, и налегке поскакала на улицу. Вошла в те самые ворота, вдохнула, выдохнула и подумала, какой все-таки молодец водитель, что с кем-то меня перепутал, и какая молодец я, что не стала спорить и вышла. Потому что красота неопишутая; да, я знаю, такое можно о каждом втором маленьком французском городке сказать, но хуже от этого они не становятся.

Я, конечно, предполагала, что в вокресенье, во второй половине дня в городе будет не слишком людно. Но за первые полчаса я вообще никого не встретила, натурально, ни души. Правда, нашла целых два открытых кафе — ну как, открытых, двери-то нараспашку, а посетителей нет, и за стойкой почему-то никого, так что я не решилась войти, это как в чужой дом без хозяйина... Ладно, неважно. Потому что в третьем по счету кафе был, можно сказать, аншлаг: за барной стойкой хмурый мужик со сросшимися бровями, при этом кра-

сивый — убиться можно. За столиком у входа скучает над растаявшим мороженым долговязая конопатая девица, с виду старшеклассница, а в уголке у окна прилегла старушка в сиреновой стеганой куртке, я только потом разглядела, что она азиатка — раскосая, желтолицая и древняя, как иероглифическая письменность. Когда я вошла, эти трое так на меня посмотрели, как будто я — панк с зелеными волосами и семью кольцами в носу. То есть, с веселым антропологическим любопытством — дескать, что за чудо такое к нам пожаловало? А какое из меня чудо. Тетка как тетка, в меру симпатичная, волосы собраны в хвост, джинсы, курточка — нас таких миллионы. Ну, правда, приезжая. Новенькая, то есть. Практически прекрасная незнакомка. Я решила, они поэтому так уставились, и расслабилась. Пусть себе тарашатся, лишь бы накормили — да вот хоть мороженым. Потому что маковая росинка у меня во рту, конечно, с утра была. Но всего одна. И очень очень давно.

Правда, в первый момент меня смутил запах паленой органики, слабый, но, знаешь, такой нехороший, как будто где-то под столом миниатюрная модель ада для грешных инфузорий припрятана. Но потом я поняла в чем дело: тут готовят в печи на открытом огне. И если этот хмурый красавчик согласится поджарить мне кусок мяса...

Он, похоже, прочитал мои мысли. Потому что сразу, не здороваясь, спросил:

— Голодная?

Это в моем пересказе выходит грубо, а тогда прозвучало как-то удивительно хорошо и уместно, как

будто я вернулась домой после долгой прогулки, тут не церемонии разводить, а кормить надо. Я уже и не помню, когда меня так встречали. Ну, в детстве, наверное. Но с детством у меня сложно, я его помню, как кино или книгу, — очень мило, но при чем тут я?

Но тогда я не рассуждала, а просто энергично закивала — дескать, еще какая голодная, давайте сюда все, что есть. Он меня правильно понял, даже не стал спрашивать, чего мадам желает, а поставил на стойку глиняный стакан с сидром и пошел к печи. Первым делом в ад отправились куски грешного хлеба и нераскаявшегося козьего сыра; помучившись, сколько положено, они перевоплотились в изумительные гренки для салата, который временно заслонил для меня весь мир. А потом на мою тарелку плюхнулся кусок мяса, пожаренного именно так, как я люблю — сверху корочка, внутри — кровавый сок, и только не говори, что помнишь меня вегетарианкой, это я по молодости, по глупости, больше не повторится.

Когда от куска осталось чуть больше трети, я перевела дыхание и, так сказать, вернулась в реальный мир. То есть, подняла голову от тарелки. Ненадолго, но успела заметить, что хмурый красавчик смотрит на меня с почти материнской нежностью, а китайская бабушка и конопатая старшекласница распахнули окно и, высунувшись туда по пояс, курят страшную черную вонючую сигару, одну на двоих. И от этого зрелища в душе моей воцарились мир и покой, доселе ей, бедняжке, неведомые. Ну правда, как будто домой вернулась, и всю эту троицу сто лет знаю, и они ведут себя, как я привыкла, и нам хорошо вместе, *как*

*всегда.* Ух, как же это было здорово! И наверное поэтому, когда хозяин сказал: «Жуй быстрее, скоро закрываемся, ты же не хочешь опоздать на представление?» — я быстро-быстро замотала головой, дескать, конечно, не хочу, и только потом удивилась: что за представление такое? Но не сомневалась ни секунды — если зовут, надо идти.

Когда я попыталась расплатиться за еду, хмурый красавчик поглядел на меня, как на дурочку, только что пальцем у виска не покрутил, точнее, все-таки покрутил, но пальцем какой-то дополнительной невидимой руки — вроде бы, ничего не произошло, а всем присутствующим ясно, что он это сделал. Но я все равно улучила момент, когда мой благодетель отвернулся, и сунула пять евро под тарелку; я бы больше положила, но в кошельке была еще сотня одной купюрой, и все, а поди получи сдачу у человека, который вовсе не хочет брать с тебя денег. Короче, я рассудила, что пять евро все-таки лучше, чем ничего, и с более-менее легким сердцем отправилась курить на крыльцо. Конопатая девица выскочила следом, попросила сигарету, села рядом на ступеньку, и так чудесно мы с ней там молчали о своих запутанных девичьих делах, что у меня снова возникло это дивное ощущение: я дома, и любимая младшая сестренка рядом; мне почему-то всегда казалось, что сестры примерно так и общаются, почти без слов, с такой, знаешь, обоюдной немного снисходительной нежностью. Но я, конечно, не знаю, как оно бывает на самом деле, у меня-то только брат, причем он на пятнадцать лет старше; мы, можно сказать, едва знакомы... Неважно.

\* \* \*

Наконец, на крыльце появился хозяин, по-прежнему хмурый и ослепительно красивый. И в тот же миг как-то резко стемнело, как будто он был не человеком, а огромной грозовой тучей. Человек-туча достал огромную, в несколько десятков — я не преувеличиваю! — связку ключей, с явным наслаждением ими побренчал, наконец, выбрал нужный и принялся запирать дверь. Я опомниться не успела, а он поднял меня со ступеньки, практически за шкуру, как котенка, сказал: «Пошли».

И мы пошли. По дороге хозяин кафе потрясал связкой своих ключей, вызванивая какую-то смутно знакомую мелодию, а девица на ходу пританцовывала под этот аккомпанемент, и я вдруг заметила, что и сама — ну, не то чтобы в пляс пустилась, но шагать начала, сообразуясь с ритмом, а время от времени, когда того требовало музыкальное сопровождение, останавливалась, подпрыгивала или хлопала себя ладонью по бедру, совершенно не стесняясь своих спутников. Глазеть по сторонам это, впрочем, не мешало.

Мы пересекли площадь, на которую выходили двери и окна нашего кафе, нырнули в узкий короткий переулок, почти сразу снова свернули, поднялись по ступенькам на холм, на вершине которого стоял собор, окруженный строительными лесами, обошли его по периметру и начали спускаться.

— А бабушка? — Вдруг вспомнила я. — Она осталась в кафе?

— Матушка Чан уже на небесах, — сказала конопатая девица, да так серьезно, что я задрала голову и уста-

вилась вверх. Но там, разумеется, не было ничего, кроме рваных облаков, подкрашенных розовым закатным заревом, и бледного ломтика ущербной луны.

Интересно, что она имела в виду? Не померла же старушка за минуту до закрытия, в самом деле. Да и владелец кафе, сколь бы угрюмо не хмурил брови, совершенно не похож на Раскольников. Не тот тип.

Бедняга не догадывался, что не прошел кастинг, поэтому не утратил мрачности, успешно заменявшей ему безмятежность.

— Матушка Чан-Э присоединится к нам позже, когда покончит с делами, — церемонно сообщил он. — Ей будет приятно узнать, что ты о ней беспокоилась.

Надо же, подумала я. Матушка Чан-Э<sup>1</sup>. Стоило ехать в департамент Лозер, чтобы внезапно запутаться в складках парадного халата господина Ляо Чжая<sup>2</sup>. Впрочем, что это я? Стоило, еще как стоило.

— Как же тут у вас хорошо, — невольно выдохнула я, когда мы, завершив спуск, свернули под невысокую полукруглую арку и оказались в очередном переулке,

---

<sup>1</sup> Чан-Э — в китайской традиции имя живущей на Луне бессмертной богини.

<sup>2</sup> «Ляо-Чжай», полностью «Ляо-чжай-чжи-и», «Повести о странном из кабинета Ляо» (в некоторых интерпретациях «из кабинета неудачника») — название книги китайского новеллиста Пу Сун-лина, по прозвищу Лю-цюань (1622—1715). В русских переводах сборников фантастических новелл о лисах-оборотнях, бесах, бессмертных божествах и даосских монахах («Рассказы Ляо Чжая о чудесах») «Ляо Чжай» обычно трактуется как имя, вернее, псевдоним автора, и у рядового, то есть не знающего китайский язык читателя, ассоциируется именно с «господином», а не с «кабинетом».

вымощенном булыжниками и застроенном узкими каменными домами совершенно в моем вкусе.

Вообще-то, не в моих привычках докучать местным жителям своими восторгами, я слишком хорошо знаю цену таким эмоциям. Среднестатистический восхищенный турист уже потому всем доволен, что вырвался на время из привычного круговорота жизни: ему не надо толкаться в городском транспорте, покупать продукты для ужина, выносить мусор, сверяясь с приборами, высчитывать квартплату, ложиться пораньше, предусмотрительно поставив в изголовье будильник, ворочаясь с боку на бок, сочинять ответы на каверзные вопросы, которые завтра поутру непременно задаст начальник — вообще ничего в таком духе. Пожизненный раб распорядка пьян от внезапно наступившей свободы, ему так хорошо, что он почти не видит город, который искренне нахваливает; неудивительно, что туземцев его неуместные восторги только раздражают, как лепет захмелевшего гуляки, внезапно оказавшегося среди трезвых, занятых, озабоченных повседневными делами людей. Впрочем, ворчуны, заранее недовольные всем, что с ними может случиться, еще хуже, но не о них сейчас речь.

Короче, я не собиралась ничего такого говорить. И уж, тем более, восторженно выдыхать. Нечаянно получилось. Но мои попутчики не выказали недовольствия.

— Ну так оставайся тут жить, если тебе нравится, — приветливо сказала моя новообетенная сестренка.

— С жильем проблем не будет, я храню ключи от всех опустевших домов старого Марвежоля, — заме-

тил хмурый красавчик и с утроенным энтузиазмом забренчал своей коллекцией цветного лома.

Я открыла было рот, чтобы объяснить: и рада бы остаться, но в Париже у меня работа, не то чтобы венец мечтаний, но жить вполне можно. А здесь как зарабатывать? На одних переводах я долго не продержусь. Но тут владелец множества пустующих домов добавил:

— Только ты должна будешь повесить за окно колокольчики. Это обязательное условие.

Его реплика сбила меня с толку. То есть, я просто забыла, что хотела сказать, и одновременно поняла: это совершенно неважно, не имеет значения, вылетело из головы, и черт с ним. Тем более, что впереди, уже совсем близко сияют разноцветные огни, льется музыка, незатейливая и сладкая, как жженный сахар, от жаровен валит сизый дым, сыплются на землю розовые лепестки, звенят, как птичий щебет, счастливые голоса.

— Это что, городской праздник? — спросила я, замирая от восторга: надо же, как удачно совпало!

— Можно сказать и так, — кивнул мой спутник.

— Ежедневный городской праздник, — вставила конопатая девица. Тут же поправилась: — Вернее, еженощный. — И, заметив мое недоумение, пояснила: — Представление. Оно бывает каждый вечер, но хуже от этого не становится.

Не могу сказать, будто ее слова что-то мне объяснили; с другой стороны, какая разница, каждый вечер они так веселятся или раз в год, я-то здесь первый раз в жизни и, скорее всего, в последний, а тут вдруг — *такое*, праздник, ярмарка, представление, я и вообразить не могла.

Мы сделали еще несколько шагов, вышли на площадь, которая, принимая во внимание общие масштабы старого города, никак не могла быть большой, но показалась мне огромной, и как-то внезапно очутились в самом центре суматошного праздничного варева. Моих спутников тут все знали и, похоже, любили — подходили, хлопали по плечам, обнимали, троекратно целовали в щеки, и меня тоже, на всякий случай, раз с ними пришла. «Мендозо, — то и дело говорил кто-то, — да это же мсье Мендозо с сестренкой», — и к нам подходили все новые и новые желающие поздороваться.

Так они, оказывается, брат и сестра, надо же, совершенно не похожи; а фамилия у них, значит, Мендозо, думала я, вот и славно, я же как раз в Менд еду, легко будет запомнить.

Конопатую девицу вскоре утащили танцевать, а у нас в руках каким-то образом оказались кружки с яблочным сидром. Я начала оглядываться в поисках скамейки, но мсье Мендозо подхватил меня под локоть и повлек по направлению к центру площади, деликатно, но настойчиво.

— Место лучше занять прямо сейчас, — объяснил он. — А то половину не разглядим.

По дороге он то и дело отвлекался — то чмокнуть в щеку очередную красотку, то отломить кусок чужого пирога, то взять из чьих-нибудь рук деревянную свистульку, дунуть в нее, насладиться пронзительной трелью и с вежливым поклоном вернуть владельцу. Между делом раздобыл где-то глиняный колокольчик на серебряной нитке и повесил его мне на ухо, так что я чувствовала себя не то рождественской елкой,

не то породистой коровой, но снять колокольчик не решилась, и теперь он тихонько позвякивал при каждом моем шаге.

Наконец, мы остановились у самого края большого, мелом очерченного круга, в центре которого лохматый мальчишка лет семи в серой меховой безрукавке лениво жонглировал полудюжиной горящих факелов — трюк сам по себе непростой, особенно если учесть юный возраст исполнителя, но я как-то сразу поняла — это еще не само представление, а только обещание, что оно скоро начнется.

— Ты когда-нибудь была в цирке? — спросил мой спутник, и я подумала: надо же, второй раз за день мне задают этот вопрос. А вслух сказала:

— Однажды, очень давно, так что не считается.

— Правильно, не считается, — согласился он. — Тем более с нашим цирком никакой другой не сравнится.

Наверняка так и есть, — подумала я. — Уже потому хотя бы, что ни одно событие не сравнится с тем, что происходит со мной здесь и сейчас, в крошечном городке, о существовании которого я еще утром понятия не имела, после лучшего в моей жизни ужина, с кружкой благоуханного сидра в руках, рядом с самым красивым в мире мужчиной, еще и с колокольчиком этим дурацким, который он зачем-то на меня нацепил, а я, дура, и рада... О, даже если бы этот мальчишка жонглировал всего двумя погасшими факелами и оказался единственным пожелавшим выступить артистом, я бы все равно до конца дней вспоминала это представление как самое восхитительное, ну а если они еще хоть что-нибудь покажут — тогда вообще с ума сойти можно!

Мальчишке тем временем надоело жонглировать, он проглотил все шесть факелов поочередно и удалился с таким скучающим видом, словно теперь ему предстояло засесть за уроки.

— Эй, это как?! — Я требовательно потянула мсье Мендозо за рукав. — Как он это сделал?!

Тот пожал плечами.

— Ты сама видела, как: взял и проглотил. Да это пустяки, ребенок еще только учится, и в качестве награды за успехи ему позволяют развлечь публику перед представлением. Видела, какая у него постная физиономия? Это он прикидывается, чтобы никто не догадался, как он счастлив и горд... Молодец мальчишка, что тут скажешь. Далеко пойдет.

Но тут музыка зазвучала громче, и мой спутник умолк, а обо мне и говорить нечего, я не только французский язык, а сам факт существования человеческой речи временно забыла, когда откуда-то сверху, как леденцы из невидимой вазы посыпались люди, одетые в пестрые блестящие лохмотья. Коснувшись ногами земли, одни тут же принимались кувыркаться, другие — изрыгать огонь, третьи — карабкаться вверх по невидимым канатам, а самый колоритный, могучий старец с седыми кудрями до пояса начал доставать у себя из-за пазухи упитанных кроликов, которыми одновременно как-то ухитрялся жонглировать; доведя число кроликов до дюжины, он уселся на землю, предоставив им самостоятельно кружиться в воздухе до тех пор, пока зверьки не превратились в букеты белых роз, их фокусник тут же раздал стоящим поблизости женщинам. Один букет достался мне; кажется, еще ни одному подарку

в жизни я не радовалась так бурно. Впрочем, когда несколько минут спустя букет бесследно исчез из моих рук, я была слишком увлечена представлением, чтобы огорчиться; я и удивиться-то толком не сумела, только отметила про себя, что, по-хорошему, надо бы.

Но кролики и букеты — это, и правда, были пустяки. Чем дальше, тем более невероятным казалось мне происходящее на импровизированной арене, за меловой чертой. Я своими глазами видела, как огромная змея играет на дудке, одновременно отбивая ритм хвостом по стоящему рядом барабану. Как из обычной чашки выливают воду и вместе с ней выплескивают на траву русалку, которую тут же подхватывает за руки свесившийся с трапеции воздушный акробат, и после нескольких кульбитов парочка, слившись в страстном поцелуе, исчезает в чердачном окне ближайшего к месту действия дома. Как, сокрушая булыжную кладку мостовой, в центре площади за несколько минут вырастает огромный бук, из дупла которого вылезают три девочки в накидках из листьев и начинают потчевать собравшихся сладкими буковыми орешками; несколько штук я съела, а один положила в карман, на память, и тут же ехидно сказала себе: можно подумать, без орешка ты вот так сразу все забудешь, моя бедная безмозглая сентиментальная Люс.

Но вообще-то, думала я в этот вечер на редкость мало, не до того было. Я даже не заметила, как исчез мой прекрасный угрюмый спутник, опомнилась, только когда он вернулся с пакетом печеных каштанов и отсыпал половину в мою протянутую ладонь.

Импровизированная арена опустела так же внезапно, как перед этим заполнилась. Все, включая недавно

выросший бук, вдруг куда-то подевались, но зрители не расходились, и я поняла, что представление еще не окончено, но никак не могла сообразить, в чем оно теперь заключается.

— Не туда смотришь, — шепнул мне мсье Мендозо, — подними голову!

Я послушно посмотрела вверх и увидела, что с неба — в смысле, ниоткуда, из темноты и пустоты, свисает веревочная лестница, излучающая бледный голубоватый свет, а по ней неторопливо карабкается вниз крошечная человеческая фигурка. Время от времени из рукавов ее просторной куртки вылетали сияющие как фонари бабочки размером с откормленного голубя и тут же принимались носиться над площадью; в конце концов, они практически закрыли ночное небо, от их крыльев стало светло, как днем, а от их размеренного вращения у меня немного закружилась голова, сладко, как от поцелуя.

Но тут небесный посланец, наконец, прыгнул на землю и оказался старой азиаткой из кафе, которую мсье Мендозо и его сестрица называли «матушкой Чан». Старушка нагнулась — я поначалу решила, что это она кланяется публике, но нет, матушка Чан принялась деловито сматывать в клубок начерченную мелом линию, отделявшую арену от зрительских мест. Закончив свой невероятный труд, она спрятала клубок за пазуху и принялась взбираться вверх по лестнице, столь же неспешно, как только что спускалась. Светящиеся бабочки понемногу забирались в ее рукава; в конце концов, на площади снова стало темно, только веревочная лестница еще какое-то время переливалась в небе сияющим росчерком, а потом погасла и она.

— Вот теперь все, — объявил мой спутник, легонько щелкнув пальцем по колокольчику, висящему на моем ухе. И будничным тоном добавил: — Если хочешь еще сидра, надо поторопиться, его вечно не хватает.

Народ, к моему удивлению, вовсе не спешил расходиться. Оркестр грянул какую-то залихватскую польку, и добрая половина присутствующих немедленно пустилась в пляс, а вторая, не столь добрая, устремилась к лоткам с остатками напитков и закусок; мы с хмурым мсье Мендозо были среди них, практически в первых рядах. Добыв по кружке сидра и по куску жареного овечьего сыра, уселись прямо на тротуар, в стороне от танцующих, чтобы перевести дух.

— Ну и как тебе? — гордо спросил он.

— Слов нет! — выдохнула я, чуть не подавившись горячим сыром от полноты чувств. — Никогда не думала, что уличные циркачи могут быть такими виртуозами!

— Вообще-то, не такие уж они виртуозы, — снисходительно заметил мсье Мендозо. — По сравнению с людьми — несомненно. Но от оборотней можно требовать и большего.

— От оборотней?!

Одно из двух, подумала я. Или я так устала, что начала забывать французский, или это просто какая-то локальная шутка, непонятная непосвященным. Будем надеяться, все-таки второе.

— Ну, не думаешь же ты, что люди способны проделать все эти фокусы, — пожал плечами мой спутник.

Я не нашлась, что ответить и полезла в карман за сигаретами. Возможно, курение действительно не слишком полезно для телесного здоровья, но совершенно необходимо для душевного, по крайней мере, лично меня первая же затяжка мгновенно возвращает на землю, в какие бы заоблачные дали не унесся перед этим мой слабый разум.

Но на сей раз почему-то не помогло.

— Значит, говоришь, оборотни, — растерянно сказала я.

— Ну да. Они просто отдают долг, — заметил мсье Мендозо таким тоном, словно это все объясняло.

— Какой долг? — автоматически переспросила я.

— Прежде они сеяли здесь страх. А теперь сеют радость, — лаконично ответил он.

— Ага, вот теперь все стало понятно, — усмехнулась я, постаравшись вложить в свою реплику как можно больше сарказма, чтобы его проняло.

— Фундамент всякого города замешан на крови и радости, — тоном школьного учителя изрек мсье Мендозо. — В этом деле чрезвычайно важны пропорции: пока радости больше, город будет процветать. А если ее не хватает, город становится неподходящим местом для жизни. В таком городе умирают чаще, чем рождаются, а подростки всем сердцем стремятся его покинуть и, как правило, добиваются своего. Марвежоль — хороший городок, заслуживающий любви. Но очень уж маленький. И очень старый. Людям, которые здесь жили, всегда приходилось нелегко. Но пока город был молод, радости хватало на всех с лихвой. Однако Марвежоль понемногу старился, и пару столе-

тий назад его природная радость начала иссякать. Не то чтобы ее не стало вовсе, но — недостаточно. Дети тут рождаются куда реже, чем прежде, а если бы я захотел записать имена уехавших на поиски лучшей доли, мне пришлось бы извести столько бумаги, что в нее можно завернуть тебя целиком, да еще и в несколько слоев, как стеклянную вазу.

Я невольно улыбнулась, представив себе процесс упаковки.

— И тогда город заключил договор с оборотнями, — будничным тоном продолжал мой спутник. — Многие столетия они сеяли здесь страх и проливали кровь, и город охотно позволял им это, даже предоставлял кров и защиту, предчувствуя, что когда-нибудь от них будет польза. И теперь пришло время отдавать старый долг. Они, как видишь, неплохо справляются.

— Ну какие тут могут быть оборотни? — устало спросила я, все еще надеясь, что стала жертвой затянувшейся шутки. Не слишком удачной, но когда шутник так красив, требования к качеству его реплик как-то незаметно снижаются.

— Какие? Да самые разные, — мой прекрасный шутник был невозмутим и не собирался отклоняться от курса. — В основном, конечно, волки. Но не только они. И не только местные, такое развлечение никто не хочет пропустить, вот и сходятся отовсюду. Вон матушка Чан вообще с неба к нам спускается, хотя уж она-то точно не оборотень и никому ничего не должна... Мы всем рады, чем больше актеров, тем дольше длится представление, тем слаще спится нашим горожанам, тем радостней их пробуждение поутру — чего еще желать.

— «Спится»?! — Я окончательно перестала его понимать.

Тут мсье Мендозо очень внимательно на меня посмотрел, как будто впервые увидел.

— Эй, погоди, — удивленно сказал он. — Неужели ты подумала, что все это происходит наяву?

— Ннну, — смущенно заблеяла я, — а почему, собственно, нет? Я же только приехала. И не знаю, как у вас тут все устроено. А тут ты говоришь: представление, пойдем! И я иду, и действительно представление, лучшее, что я видела в жизни, но почему бы ему не быть наяву? Я как-то, знаешь, совершенно не усомнилась в реальности происходящего, да и с чего бы? Когда я оказываюсь в незнакомом месте, мне кажется, тут может случиться все что угодно. А может не случиться, это уж как повезет.

— Отличный подход к делу, — мой хмурый спутник вдруг улыбнулся, впервые за весь вечер. — Ладно, если так, значит все действительно было наяву — для тебя. В этом есть одно небольшое неудобство: в гостиницу тебе придется добираться пешком. Ты где остановилась?

— У черта на рогах, — машинально ответила я. И тут же исправилась: — Над баром «Le Diabolo».

— Ну, это недалеко, сразу за воротами, доберешься.

— Доберусь, — эхом откликнулась я.

— Перелезь в сад через забор и войди через заднюю дверь, — посоветовал мсье Мендозо. — Она всегда открыта для кота. А хозяев не буди, им сейчас снится, что они снова молоды и пляшут на этой площади, — он неопределенно махнул рукой в сторону танцующих. — А потом им, небось, приснится, как они целуются,

укрывшись в чужом дворе от утреннего дождя, в такой момент будить и вовсе свинство... И кстати об утреннем дожде, пора бы о нем позаботиться.

Он привстал, взмахнул рукой, и несколько секунд спустя рядом появилась его конопатая сестрица, раскрасневшаяся и запыхавшаяся.

— Уже? — деловито спросила она. — Пора?

— Я бы дал тебе поплясать подольше, но к утру нужен дождь, а небо, видишь, почти чистое.

— Ладно, — кивнула она, — надо так надо.

Они шагнули навстречу друг другу, обнялись и вдруг исчезли — пока исчезали циркачи на арене, это казалось мне почти естественным делом, а вот сейчас эти двое изрядно меня огорошили. Но я не столько испугалась, сколько расстроилась, обнаружив, что внезапно осталась одна, с пустой глиняной кружкой в руках и дурацким колокольчиком на ухе. Снимать его я не стала, так и пошла через весь город, бренча, как хозяйская овца, оглушенная, опустошенная, сбитая с толку, подгоняемая в спину ласковым теплым ветром.

Обнялись и исчезли, ну надо же! — растерянно думала я, пока лезла в сад через забор, который, к счастью, оказался не слишком высоким. Дверь черного хода, как и обещал мсье Мендозо, была приоткрыта, на ее пороге дремал большой черно-белый кот, причем он устроился таким образом, что длинное мускулистое тело находилось в доме, а башка — снаружи, и оба уха, черное и белое, едва заметно трепетали на теплом ночном ветру.

Обнялись, значит, и исчезли, — сердито думала я, стоя в душе под тугими струями горячей воды. И, уже закутавшись в полотенце, позволила себе сформулировать рвущий сердце жалобный вопрос: — А как же я?!

Обнялись и исчезли, такие дела, — вздохнула я, когда моя голова коснулась подушки. И почти разрешила себе заплакать, но не успела, потому что заснула — мгновенно, крепко и сладко, как в детстве.

В моем сне шел дождь, видимо, потому, что наяву он тоже шел, стучал по крыше, лился на подоконник через распахнутую форточку, тяжелыми каплями стекал на деревянный пол. И еще в моем сне дул теплый ветер — этого, казалось мне, совершенно достаточно для счастья, пока дует ветер, я жива, а все остальное приложится.

«Когда ветер хочет казаться человеком, ему приходится разделить себя на несколько частей и разлить по разным сосудам», — вдруг подумала я. И так удивилась, обнаружив в своей светлой голове столь неусветную чепуху, что проснулась. Утренний дождь уже закончился, на небе сияло солнце, такое неправдоподобно желтое, как будто его только что нарисовал подающий надежды художник четырех с половиной лет от роду.

— Потому что ветер гораздо больше человека, и в одно тело ни за что не поместится, — сказала я вслух и тут же прикусила язык.

Что я окончательно сошла с ума, невелика беда, я всегда была к этому более-менее готова. Но вот бредить вслух не стоит ни при каких обстоятельствах, даже

в абсолютно пустой комнате. *Особенно* в пустой комнате, если уж на то пошло.

Кофе и сигареты, — строго сказала я себе, — вот что тебя спасет, дорогая. И повторила:

— Кофе и сигареты.

Нарочно произнесла это вслух, чтобы перебить нехороший сладковатый привкус, оставшийся на губах от предыдущей фразы.

И отправилась вниз, в этот чертов бар. В смысле, в «Le Diabolo». Вчера днем я имела дело с хозяином, а теперь за стойкой стояла его жена, милая женщина лет пятидесяти, худая, как жердь, без намека на макияж и какие-либо средства ухода за кожей, но все еще очень красивая, я бы, по крайней мере, не отказалась так взглянуть в ее годы.

Получив кофе с молоком и круассан, я села у окна, из которого открывался прекрасный вид на городские ворота, и стала думать, что делать дальше.

Теоретически мне следовало собирать пожитки и ехать в Менд, к Людке, как собиралась. Но этот вариант, сказать по правде, казался мне наименее привлекательным. Какой, к черту, Менд, какая Людка? Я и раньше плохо представляла, о чем с ней говорить, а уж теперь-то, когда мне с собой общий язык найти непросто...

Ладно, решила я, все равно автобус будет только после обеда. И, обрадовавшись отсрочке, вышла на улицу.

...Несколько минут спустя я уже кружила по старому городу в поисках давешнего кафе. Не знаю, что там происходило на площади — наваждение, сон, бред и гал-

люцинации, очень похоже на то, но неважно. Кафе-то было самое настоящее. Салат с гренками и мясо никак не могли мне присниться, тяжесть в животе поутру веское тому доказательство. Ну и где оно?!

— Так, тут я вчера точно шла, — бормотала я, — этот балкон даже сфотографировала, а в этот бар заглянула, но там никого не было... Точно в этот? Ну да, все правильно, «Le Griffon», такое название ни с чем не перепутаешь. А потом я шла прямо, пока не попала на площадь. Совершенно верно, вот она, площадь. Кафе должно быть где-то здесь.

— Должно быть где-то здесь, — упрямо повторила я после того, как шесть раз обошла площадь по периметру, сунув нос во все открытые двери и тщательно изучив закрытые.

Потом я села на ступеньку чужого крыльца и расплакалась, впервые за... а даже и не знаю, за сколько лет. Во всяком случае, в школе я уже точно не ревела, ни разу за все годы, а позже — тем более, хотя поводы, конечно, были, причем гораздо более веские, чем пропажа какого-то дурацкого кафе в городе, где я сдуру вышла из автобуса и почему-то решила задержаться.

— Ну и чего ты реवेशь? — строго спросил меня знакомый голос.

Я огляделась по сторонам, и совершенно напрасно, потому что этот красавчик, мсье Мендозо, сидел прямо передо мной, на корточках.

— Кафе здесь ищешь? — сочувственно спросил он. — Это ты напрасно. Мое кафе два раза подряд на одном и том же месте не появляется. И открываю я его ближе к вечеру...